



Игорь Шкляревский

ТЕНЬ ПТИЦЫ







Игорь Шкляревский
ТЕНЬ ПТИЦЫ

ТРИ ПОВЕСТИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1976

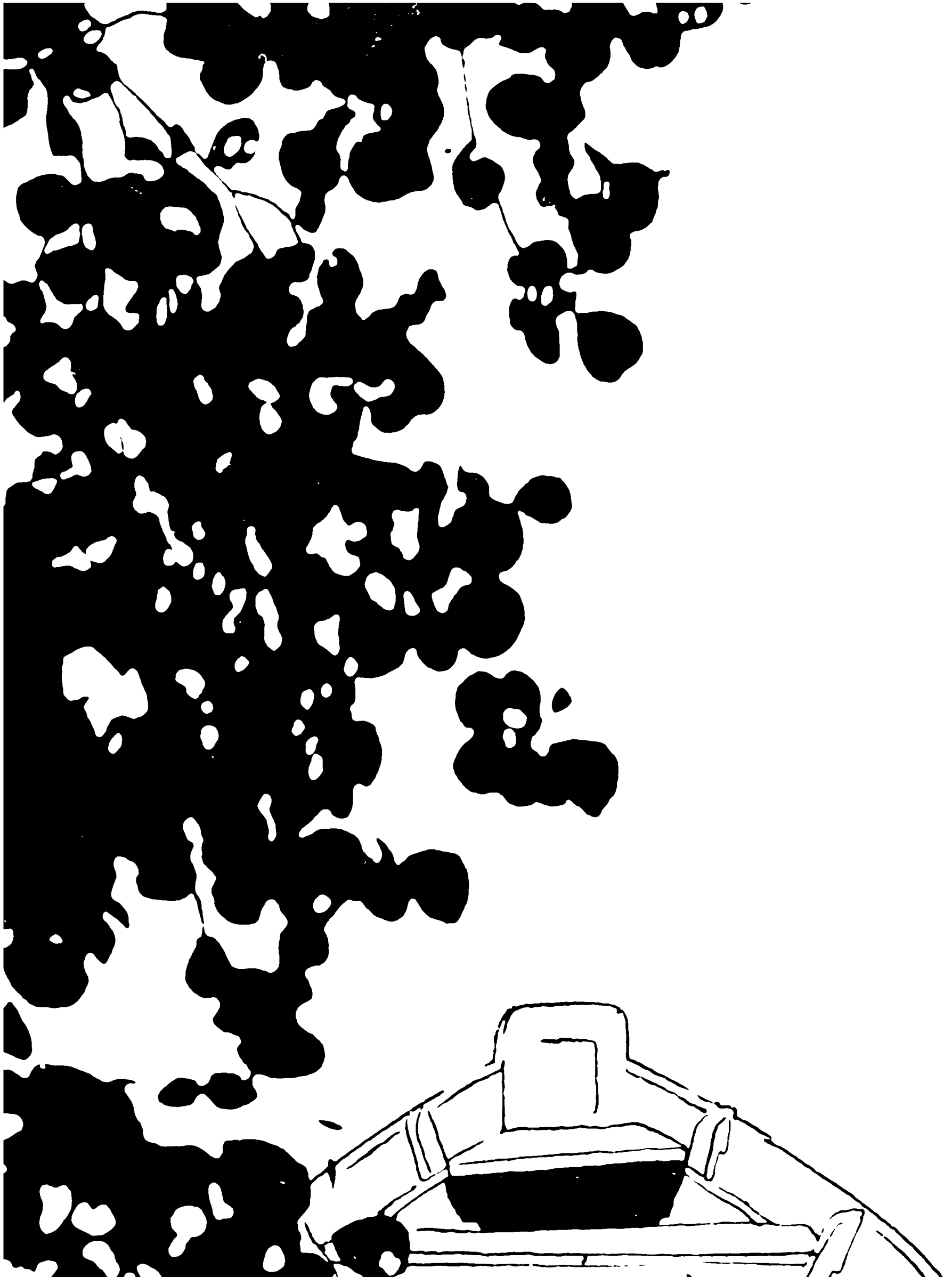


Поэт Игорь Шкляревский в своей новой книге предстал перед нами в ином качестве — прозаик. В книгу «Тень птицы» входят повести: «Вся надежда на Ленку», «Грибная осень», «Тень птицы».

Повести эти — о бережном отношении человека к природе, о людях, ее охраняющих и умножающих ее богатства.

Это книга лесов и рек, дождей и листопадов, книга живой природы, в которой живут люди, любящие свою родину.

I





ВСЯ НАДЕЖДА НА ЛЕНЬКУ

ХРОНИКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ

Я шел по лесной дороге в Александровку, и от рюкзака меня покачивало. В нем было все, что надо для жизни, — консервы, блесны, свинцовые грузила, котелок, резиновые сапоги, подарки для Леньки, ливерная колбаса для Тузика и горох для язей. Ремни вреzались в плечи, и руки затекли, но есть одна блаженная минута — когда снимаешь эту тяжесть со спины и глаза твои, темные от земли, опять затекают синевой, в которой кувyrкаются ласточки! Эту самую минуту я и предвкушал.

А в лесу еще цвела черемуха, было как-то неуютно, пустынно и светло. Я думал, что сильнее обрадуюсь моему лесу, и белым холодным зарослям, и грустному голосу кукушки, но это странное отсутствие радости было даже интереснее, потому что я обнаружил его впервые. Не очень обрадовало меня и первое свидание с рекой — передо мною струился темный Сож, над ним кружился ослепительно-белый аист, а долина с дубовыми рощами вся звенела, рыдала и дрожала, воздух дрожал — цели жабы-жерлинки.

Синий дым над смолокурней, остатки дикого сада, развалины кафельного заводика, сосны на красном песчаном обрыве, плес, лодки... Я все это представлял себе много раз, но все оказалось иначе. Сосны не там, плес не такой, обрывы ниже или выше. Другое место могу себе представить предельно точно, а это не могу. И с лицами у меня то же самое. Закрою глаза и вижу: Боря, Вадим, Валерий. А лицо Наташи расплывается. Наверное, самое дорогое очень трудно представить таким, какое оно есть. Хочется сделать его еще красивее.

А Сашка уже увидел меня и завопил на всю Александровку:

— Ленька, Игорь приехал!

И Тузик уже толкал меня в бок своей волчьей башкой, лихорадочно совал правую лапу, скулил и оглядывался — не пытается ли кто-нибудь из четвероногих разделить с ним торжество этой встречи. Выбежал и Ленькин Шарик, но Тузик сморщился и зарычал. Означало это: «Иди отсюда, пока не поздно!»

Шарик издали помахал мне хвостом, и тут я увидел Леньку.

Белая голова, нос курносый, синие глазенки — в общем, Ленька как Ленька, не Олег и не Борис, а именно Ленька.

Встретил он меня с той мерой радости, которая не

переходит в ложный восторг, и вел себя так, как будто зимы не было, а два дня назад мы с ним сидели в лодке. И тут я понял, что в лесу было то же самое и что я встретился с ним так же спокойно, как и Ленька со мной, потому что с ним не разлучался, и даже смерть не разлучит меня с моими соснами.

Пока все это мелькало в моей голове, я уже говорил Леньке какие-то слова. Наверное, я ему сказал:

— Привет, Ленька.

И он сказал мне:

— Привет!

Мы пожали друг другу руки, и Ленька сразу задал деловой вопрос:

— Поплывем?

Я, конечно, ответил, что успеем или что-то в этом роде, а заодно поздоровался с Верой Федоровной, дедом Павлюком и смолокурщиком Толей. Глаза мои на мгновение проследили за его глазами, устремленными в небо, и я увидел на крыше телевизионную антенну. Точно такие же вехи прогресса, сделанные из старых рыбацких шестов, появились над хатами бабы Орины, колхозного шофера Володи и тетки Сони. В городе я бы внимание на это не обратил — подумаешь, телевизор, — а здесь обрадовался и вслух подумал:

— Добрая была осень!

— Ох, добрая, — согласился Толя, и дед Павлюк закивал, и Вера Федоровна улыбнулась и сказала:

— А мы, Игар, хотели вторую корову купить, а Ленька говорит: «Лучше телевизор», — ну и купили, нехай себе грымить и распявае!

Я еще раз окинул взглядом новое александровское небо и на мгновение вспомнил весеннее, послевоенное небо моего городка. На уцелевших деревьях и березовых шестах ликовали новенькие скворечники. Развалины, черные, обгорелые балки и скворечники, сколочен-

ные раньше времянок... И тут я заметил, что Ленька чего-то ждет. Я сначала подумал о подарках и хотел уже достать новый мяч и всякие металлические штучки, но вовремя почувствовал, что совсем не этого ждет мой низкорослый Ленька.

— А ты вырос,— сказал я ему, и Ленька хмыкнул от счастья. — И вообще ты изменился.

Ленька аж покраснел от удовольствия! Ну, а потом я выпил березового сока, уже кисловатого, отстоявшегося. Ленька видел, что я пью его с жадностью, и успокоил меня:

— Есть еще полбочки! Каждый день будем пить.

Мы залезли на сеновал, и Ленька сразу уснул.

А я еще успел подумать о том, что вот я лежу на сухой, горькой траве, той самой, что в прошлом году была высокой и зеленой и обжигала меня росой.

Вера Федоровна надела нарядное платье, собирается в Славгород на базар.

— Сегодня вы как невеста, вся в цветах.

— Ой, Игар, ты бы лет десять назад по нашим лугам прошел, сколько было цветов!

— А может, потому, что сама была моложе, луга казались красивее?..

— Нет, Игар, траву стали раньше косить. Цвет не успевает отцвести и осыпается...— Грустно улыбнулась.— Ну, и сама моложе. Вон сколько нарожала, а теперь все зубы выпали... Ну, я поехала, Валька вас накормит.

Проплыли мимо плетня, развернули перед плесом лодку, и, когда она поравнялась с травой, Ленька осторожно опустил груз. Лодка вздрогнула и остановилась. Внутри у меня тоже что-то вздрогнуло.

И то же самое волнение в горле, как за секунду до удара гонга. И веревка, чуть дрожащая от напряжения, напомнила мне тугие канаты.

Вот она, долгожданная зорька — слепящее золото воды, черная точка поплавок и близость острого счастья борьбы с большой, сильной рыбой, которая гнет удилица и глухими толчками идет в глубину...

Я опустил еще один груз с кормы и бросил несколько горстей гороха далеко вперед с таким расчетом, чтобы он опускался на дно как раз напротив лодки. Ловить в этом месте можно было только параллельными проводками. Самая простая ловля — это от себя к себе. Так ловят на Днепре.

— Днепровская рыба пахнет керосином, — сказал я вслух, и Ленька засмеялся. — Тихо, — испугался я, хотя знал, что рыба не боится человеческого голоса. — Тихо!

Я сбросил с катушки в лодку метров двенадцать лесы, размахнулся, и картечина увлекла на середину плеса всю лесу, легко скользящую сквозь кольца удилица. Поплавок плавно прошел свое расстояние, и течение утопило его. Через несколько холостых забросов я увеличил глубину. Поплавок пошел боком, покачиваясь.

«Дно! Глубину уменьшить», — быстро думал я, а руки автоматически делали свое дело. Поплавок шел ровно, только в нескольких местах чуть вздрагивал.

Я сразу догадался, что это небольшие канавки. В конце проводки был выход из ямы: поплавок тонул — груз волочился по дну. Когда черная точка пропала там, где не было никаких зацепов и неровностей, я плавно подсек и ощутил слабые толчки.

— Пошла работа, — развеселился Ленька, — в одном и том же месте берет, на выходе.

— А плотва всегда так.

Клев был жадным и частым. Попадались и крупные.

— Ну, вот и язь!— Голос мой сел от волнения, уди-
лище описало дугу. Леска стучала по бамбуку, вода
бурлила и вспыхивала. Уже в лодке рыба разочаровала
меня своими красными глазами. Плотва весом с кило-
грамм! Тоже удача, но все же это плотва. А язь играл
где-то на сильной и темной струе своим веселым золо-
том и ждал великого Марлена...

Марлен — лучший язятник нашего города. От Алек-
сандровки до Славгорода весь Сож «насквозь видит».
Откроешь «Рыболова-спортсмена», а там новинки —
крючки, изогнутые по способу Марлена, поплавки Мар-
лена.

Тайна его успехов связана с его профессией. Мар-
лен — почвовед. Преподает в нашем пединституте, сту-
дентов на практику возит, всю область изучил, природу
не просто любит — понимает... А секретов своих никогда
не утаивает, спросишь — ответит и снасть покажет.
Но те, кто спрашивают, не знают, о чем спрашивать...
Крючок, поводок, приманка — и все. А дело совсем не
в этом...

Давно уже я хотел порыбачить самостоятельно, без
великих учителей. Они, конечно, и дно промерят и где
ловить посоветуют, но ведь так вечно в учениках можно
проходить. А тут случай представился: мой речной учи-
тель Усатый сказал, что в Александровке делать нече-
го, всех язей переловили. Я с ним поспорил, не от са-
моуверенности, наоборот, сомневался, смогу ли я один
рыбачить с прежним успехом... Ведь в Александровке
все хорошие места открыли мои речные кумиры, они их
и «закрыли»... Но не только из-за этого остался я в
любимой деревушке. Была еще одна привязанность,
самая главная, — Ленька, смолокурщик Толя, тетка Со-
ня, грустные повороты светлой реки, лес, изрытый око-
пами... И еще Тузик, волк собачий, друг до последнего
дыхания. И все-таки, что скрывать, хотелось мне пайти
новые язиные плесы, а потом уступить их Марлену,

Усатому и Петруше. Марлен — великий могилловский рыбак. Усатый его ученик. Я — ученик Усатого. А Петрушка — мой ученик. Я с ним поссорился.

Я спустился к воде, выпотрошил несколько крупных плоток, очистил луковицу и завернул все это в клеенку. Остальную рыбу я уложил в эмалированное ведро, пересыпал солью и прижал крышку камнем. Прошлогодняя вобла была пересоленной, и я решил держать рыбу в ведре на один день меньше.

Потом я лежал возле костра и смотрел, как Ленька рубит дрова. Ленька начал эту работу с полчасика назад и махал без передышки.

— А вот так не хочешь! — пыхтел он, перерубая наискось кривую березовую ветку. — Ах ты, е-мое, ну тогда я тебя отсюда тюкну! — разговаривал он с обгорелой дубовой корягой. Потом притащил из темноты кучу хвороста. Быстро расправился с ним и взялся за сухой ствол дикой груши.

— От нее дым хороший. Большой сад был, все померзло, папка рассказывал...

А я смотрел на ловкую работу маленького человечка в ситцевой рубахе и никак не мог понять, чем же он отличается от своих городских сверстников. Те и другие рубят деревянными шашками лопухи. И точно так же разговаривают с ними, воображают что-то, спорят. Но у них просто игра, а у него игра и работа...

Самой сильной радостью моих летних дней была эта река. Я слышал, как она мягко скользит по глине, бурлит в размытых корнях лозы, выплескивает и намывает песчаные острова. Я любил плыть по ней ночью, когда на носу лодки играло в смоляных сучьях почти бездымное маленькое зарево, а в руке у меня мерцала длинная, жутко отточенная острога.

Я любил эту реку и без костра, без остроги, всю за-

литую лунным светом, когда течение, такое сильное днем, вдруг пропадало. Это было тайной, которую не хотелось узнавать, так же как, например, тайну махаона,— кто раскрасил его крылья? А холодная светлая река текла в двух шагах от меня, и крупная марена ударила на перекате чуть пониже каменицы.

— Всегда озаренная солнцем!— так и хотелось назвать эту очень сильную рыбу с ярко-красными плавниками. И особенно радостно было поймать ее в серый ветреный день, потому что с ней возвращались все краски.

Не порознь — вместе и душа и тело были счастливы, когда приходилось войти по пояс в ледяную воду, чтобы спасти предельно натянутую снасть. Это было не только древнее и всегда молодое счастье победителя и охотника, но и счастье человека, убедившегося в том, что есть еще жизнь в его реке и ее пока не удалось уничтожить.

А когда жара притупляла волю, я сбрасывал куртку и штаны и медленно входил в зеленую воду.

А потом мы ныряли, и по загорелому Ленькиному животу скользила длинная струя серебряных пузырей.

Поднялся раньше солнца, вздрогнул от ликующего петушиного крика, обжегся ледяной водой, подпрыгнул несколько раз — земля спружинила под ногами! Решил обловить обрыв перед деревней, пошел вверх по течению, вдруг услышал запах стружек, остановился возле недостроенного колхозного коровника. Толя и Гриша молча поздоровались со мной. Утром в деревне бывает так тихо, что люди иногда здороваются только улыбками и поклонами. Я тоже улыбкой поздоровался с ними и сел на желтые сосновые доски. Когда молчание длится долго, всякие необязательные слова застревают

в горле, всякая фальшь особенно ощутима. В такие мгновения стыдно нарушить тишину какой-нибудь ерундой.

У каждого есть свои любимые запахи — стружек, пыли, бензина, сырой земли, грибов... Иногда мы осязаем их там, где на самом деле их нет. Прилетают откуда-то из детства. Через пространства, через годы добираются до твоей души, тревожат память, воскрешают забытое.

Толя кивнул в сторону коровника и сказал:

— Восемьдесят коров купили.

Я обрадовался, потому что ждал от него простых, конкретных слов, не мог он нарушить тишину стандартным «как жизнь?», «как спалось?», «как здоровье?». Впрочем, обо всем этом теперь можно было спросить, и через несколько минут он и в самом деле спросил: «Як здоровье?»

Сквозь запах стружек на мгновение пробился запах больницы, в которой я лежал. Запах йода, запах марли, валокордина, камфары... Но запах стружек становился все сильнее и наконец победил запах второго хирургического отделения. Пахло только стружками, и я сказал Толе:

— Поправляюсь, все лето мое.

Гриша уже развел небольшой костерок и заваривал зверобой. Я несколько раз пытался запомнить эту траву, но через неделю путал ее с другой, похожей на зверобой. Цветы желтые, листья почти такие же, принесешь: «Зверобой?» — «Нет, не зверобой». Гриша мне сказал так:

— Пока у тебя в рюкзаке есть грузинский чай, не zapomнишь...

Вдруг за спиной я почувствовал что-то большое и теплое. Я оглянулся — вставало солнце, над Сожем летели красные птицы...

Прошло еще четыре дня, а вчера начался этот хохот под соснами: у меня из правого кармана куртки выросла трава. Ленька увидел траву, и все вокруг зазвенело... Не дает пощады! Весло из рук падает, болят мышцы живота, скулы сводит судорога — круглосуточный хохот; легли спать — вдруг «ха-ха-ха!».

Дело в том, что четыре дня назад был дождь, а куртка висела во дворе. В кармане лежал кусок дерна с червями — забыл выбросить. Солнце пригрело, и трава выросла. Ленька то и дело поглядывает на мой карман, и мы хохочем. Надо как-то спастись. Рассказываю Леньке всякие грустные истории. Все равно хохочет.

— Ленька, меня никто не любит. Я совсем один, понимаешь, стихи не пишутся.

— Ага, понимаю!

И давится от хохота.

А между тем странное раздвоение прошло. Руки окрепли, лицо загорело, на душе чисто и легко.

Приехал и уехал Боря. Он очень хотел поймать большую рыбу и путал плотву с окунем. Вечером я и Ленька угостили его ухой. После Боря заволновался:

— А помнишь, как мы жили в Королещивичах? Ночь, весна, лес тревожно шумит...

Я все помнил, но молчал. Мы действительно жили в майском лесу. Было это лет семь тому назад. Боря каждый день нудил одно и то же:

— Через месяц зачеты, надо уезжать.

А теперь вот вспомнил и думает, что все было прекрасно. Есть такие второсортные способы радоваться жизни — вспоминать о том, чего не было. А Боря стал мне завидовать:

— Хорошо тебе здесь, леса, река.

— Так оставайся, Боря!

— Что ты, не могу, — испугался он, — дела!

— А какие дела? — спросил я, потому что был в курсе всех его дел.

Боря долго не мог придумать, какие у него дела, а когда придумал, то понял, что я уже не поверю, и просто сказал:

— Не могу...

Я молчал и чувствовал, что ему не по себе. Конечно, я мог ему помочь и заговорить о чем-нибудь, но я молчал.

— Вкусная рыбка, — игриво и заискивающе сказал Боря и, наверное, сам услышал эту неискренность и разозлился на себя.

— А у вас места рыбные? — подыграл я.

— Где у нас? — удивленно спросил он.

И когда я увидел его растерянные глаза, я понял, как ему бывает тяжело, потому что нет у него своей Александровки, маленькой родины детства, куда можно приехать в счастливые или трудные дни. Главное — верить, что у тебя такое место есть, что оно самое грибное, самое тихое и речка самая чистая...

И еще я понял, почему, например, Боря на реке устает раньше меня.

— Слушай, ты жутко вынослив, откуда это?

Но ведь он здоровее меня, и боксер и матрос, во всяком случае, не слабее. А все очень просто.

Это моя река, мой лес, мой ветер, мой дождь, моя жара, мой холод. И никакой здесь мистики нет. В чужих городах тоже больше устаешь. Например, командированные. Смотреть жалко. Утром он уехал, но грусти не оставил, так же как и радости не привез.

Июнь язями не порадовал, зато в ельнике за смолокурней появились машины дачников. Женщины плавали на разноцветных резиновых матрасах и лодочках, а мужчины ловили рыбу очень красивыми удочками.

Молния закувыркалась над лугом, и мы с Ленькой выскочили из лодки. Бросили в кусты весла, затащили под обрыв рюкзака и спрятались под самым низким дубом. Ленька втиснулся в дупло, а я прикрыл его спиной. Ливень так неожиданно ударил в меня, что я задрожал и сквозь светлые струи ревущей воды увидел, как рожь пошла воронками, и грудь моя сразу стала холодной, а спина была теплой — там ворочался Ленька и повторял:

— Вот дает, е-мое, вот дает!

Ливень убежал дальше, я увидел на одну треть мокрое поле и радостно подумал о том, что недели через две я еще вспомню об этом ливне, потому что там, где он прошел, рожь будет выше. Я даже пожалел ту часть поля и те сосны, которые он случайно не осчастливил своим прикосновением.

О, эти случайные несправедливости. Может статься, что потом влаги будет с избытком, но ко времени ли? А после грозы было тихо и свежо. Но человека всегда что-нибудь тревожит и мучает — если не жара, то совесть. Так было чисто вокруг, что совесть тут как тут: а помнишь, а помнишь... И начали выплывать всякие досадные минуты жизни. Где-то струсил, кого-то подвел... И я позавидовал Леньке, который был чище и лучше меня после этой грозы. А потом засмеялся: Ленька ведь тоже грешен. Не так, как я, но соответственно возрасту. Двоечки на троечки, а троечки на пятерочки переправлял, яблоки воровал и так далее.

— Переправлял тройки на пятерки? — быстро спросил я у него.

— Было! — отчаянно сказал Ленька и весело махнул рукой: мол, пропадать, так с музыкой! — А ты? — закричал он, ужаленный холодными каплями, которые попали ему за шиворот.

— А я еще и не то выкидывал!

— Знаю!

— Откуда ты знаешь?

Грешный Ленка завыл, продираясь сквозь заросли лозы. И, уже невидимый, откуда-то из зеленой глубины природы:

— А я все знаю!

— А если так, то скажи, хороший я человек или плохой?

— Люкс-мукс, первый сорт!

— Вот спасибо.— Я и в самом деле обрадовался.— Ленка!

— Ну?

— Кем ты будешь, когда вырастешь?

— Кем-нибудь буду.

— Космонавтом хочешь?

— Нет.

— Почему?

— У меня от высоты голова слабая.

— А писателем?

— Не хочу. Они мало живут. Лучше пастухом.

— Допустим, что ты узнал это от меня. А я знаю, кем ты будешь.

— Ну?

— Конюхом!

— И нет!

— А вот и да.

— А почему?

— А потому, что ты все время меня пасешь на своем лугу, через слово у тебя «ну».

— Ну и что?

— А то, что ты вставляешь «ну» и когда надо и когда не надо. Оно иной раз становится у тебя словом-паразитом. Понятно?

— Тогда и «но» — паразит.

— Это почему же?

— А им тоже коня подгоняют.

— У «но» есть другое значение.

— Какое?

— Например, такое: Ленька — хороший рыбак, но не владеет правильной речью, и вообще он будет конюхом!

Ленька опять захихикал.

Мы быстро вычерпали воду из лодки и так врезались в течение, что по Сожу поплыли пузыри пены. Солнце уже падало в подсочный бор, над старицей свистнули и пропали утки... Еще один день уходил от нас, как вода из-под лодки.

Заспанный Ленька появился на обрыве и нелепо замахал руками. Комары преследовали моего друга. С вечера он ушел пасти «профессоров» — так он называет колхозных телят. Глаза у них задумчивые, а вид такой важный, солидный... Я ему пытался доказать, что профессора совсем не такие. Люди они умные, живые, а умным людям незачем прикрываться солидностью. Ленька подумал и сказал:

— А ну их к черту, завтра Вальку пошлю, пускай ее комары погрызут.

Возле куста бухнула рыба. Ленька хитро сузил свои синие-синие глаза и достал из-под кустика садок, полный плотвы и подъязков. Перед тем как «расколотся», он наслаждался моим нетерпением — «где, как, на что ловил?». На противоположном берегу появилась тетка Соня, потом подъехал грузовик, и Володя перетащил в лодку к Соне несколько мешков с комбикормами. Телята уже топтались возле кормушек. Соня высыпала им липкую ароматную массу, и я все понял. Ленька замешивает в глину остатки комбикормов и опускает эти галушки на дно.

— Усатому и Марлену не разболтай,— сказал я.

— Ладно! — ответил Ленька.

Я скатал несколько фунтовых галушек, прикрыл их

лозой, и мы пошли лугом по левому берегу Сожа. Под дубами уже чуть розовели белые ягоды луговой клубники. И дикая смородина уже стала темно-коричневой. Недельки через две поспеет, а там и грибы. А' потом засвищет ветер, застонут леса, оглянешься, а в роще синие бездонные дыры. Прощай, лето! Чтобы не привыкнуть к его радостям, иногда надо думать об осенних днях, пока еще далеких, но неизбежных. Сразу все краски оживают, словно дождь прошел.

Все Ленкино семейство смуглое и светлоглазое. Сидим на бревнах возле дома. Напротив одноногий дед Адам штопает сетку, или тряпку, как он ее называет. Действительно тряпка. Ловит он в два раза меньше меня. Сидим, курим... Жара.

Тетка Соня зовет в хату супчика похлебать. Встаем, волочим ноги, хлебаем супчик, запиваем холодным молоком.

— Спасибо, тетка Соня!

— Нема за что...

Соня улыбается. Лицо у нее как старый, сморщенный боровик.

Выходим. Дед Павлюк единственным глазом окидывает луга. Он сторож.

— Здравствуй, дедушка.

— Здравствуй, Игорь. Как язи?

Сплеываю. Дед сочувствует. Предлагает меда. Заходим к деду, съедаем тарелку меда.

— Спасибо, дедушка.

— На здоровье.

Лезем на сеновал. Чего-то не хватает. А, понятно. Вечером под нами грустно вздыхает корова, а сейчас она где-то на лугу роняет в клевер зеленую слюну. Между прочим, горох для язей надо подсаливать. Солому, например, корова не ест, а с солью жрет.

Слышно, как во дворе тетка Соня разговаривает с Верой Федоровной. О чем бы, вы думали? О Поле Робсоне. Услышала по радио о том, как его притесняли, и вспомнила. Как он там, что с ним. Кричу из своего логова тетке Соне, что Поль Робсон жив и здоров и зарабатывает прилично. Тетка Соня не верит, но Семеныч авторитетно подтверждает, и тетка радуется за Поля Робсона...

Ученые пишут, что свиньи сообразительнее собак. И в самом деле. Кабанчик тетки Сони подружился с кабанчиком Веры Федоровны. Вера Федоровна закрывает своего в сарае, а Сонин подойдет, похрюкает, зубами вытащит щеколду, и потом они на пару идут гулять к реке. Есть там одно местечко — черная мокрая грязь. И коровы — создания удивительные, «тончайшей» души. Я раньше не присматривался к ним. А ведь морды у них такие же выразительные и непохожие, как у людей. И грустные, и нежные, и злые, и озорные, и хитрющие, и гордые...

Я и Ленька спустились к лодкам, чтобы почистить рыбу.

Сначала налетели комары, потом собрались Валька, Томка, Сашка — вся александровская мошкara. Среди них — незнакомая девочка, синеглазая, в грязном розовом платочке.

— Ты чья?

— Зойкина.

— А где отец?

— Сено собакам косит, — серьезно отвечает малышка.

Дети смеются.

Сашка объясняет, что батяка их бросил, пьяница.

Девочка, наверное, спрашивала у матери, где отец, а та и сказала: «Сено собакам косит».

— А мамка твоя дома?

— Дома.

— Отнеси ей шуку.

Малышка прячет руки за спину.

— Давай, я отнесу,— предлагает Сашка, хватает шуку и бежит в деревню.

Валька, Томка и девочка убегают за Сашкой, а Ленька остается со мной, отмахивается от комаров, вскрикивает. И вообще Леньке трудно жить на белом свете. Зимой надо мыть лицо и шею холодной водой и затемно, сугробами бежать в другую деревню, в школу. А летом совсем невыносимо. Комары кусают! Пчелы деда Павлюка жалят! Солнце всюду находит его белую голову. А утром коров пасти по росе, брр!.. А тут еще яблочки у Мишки в саду созревают. Медунчики! Ничего не поделаешь, придется украсть. И не надо ему этих яблок, подумаешь, кислятина, но из века в век все его сверстники, измученные избытком отваги, воровали яблоки. Не имеет право Ленька Левков нарушать законы детства на земле и не откликнуться на зов тысячелетий. Холодные, вместе с листьями, они скрипят за пазухой, и сердце так сильно бьется, что на запретных плодах остаются вмятины, а штаны трещат, и собаки лают, и даже Тузик спросонья не разобрался и завыл на своего. А потом весь рот благоухает, и сок брызжет в глаза, и зубы впиваются в «тыблочко», и, главное, на душе легко — не струсил. Хорошо Леньке жить на белом свете!

Ночи теплые. Земля прогрелась. Нарубили еловых веток. Лежим на них и смотрим в черное пылающее небо. Кажется, что звенят звезды, и от веток идет траурный горький запах хвои. Такое чувство, что, не смотря на разницу и пережитого и прочитанного, я и Ленька одинаково беззащитны перед этой беспредельной и непонятной бездной... Вдруг спрашиваю:

— Ленька, а ты думал о смерти?

Ленька серьезно отвечает:

— Думал и ничего не придумал!

— И я тоже, Ленька. Давай-ка лучше поспим.

— Ладно.

Ленька — верный друг. Решили спать, он тут же засыпает.

Есть люди, которые редко смотрят в ночное небо, живут, как будто его нету. Забывают. Или стараются не замечать.

В маленькой деревушке всегда рады приезду гостей — горожан, знакомых, незнакомых, лишь бы люди хорошие. Но дачницу, что остановилась у бабы Орины, почему-то провожают насмешливыми улыбками. Ленька сказал, что она слишком гордая. Был даже академик из Киева, и то не задавался.

Проспал утреннюю зорьку! Проснулся, — на сеновале душно, солнце бьет в глаза. Даже радио не разбудило. Вера Федоровна меня утешает:

— Радио кричит — сплю, а человек тихо позовет — проснусь...

Соня жалеет свою гостью:

— Корова дышае и спать ей не дает.

— Ну, так хай бы у хату пошла, — сочувствует Вера Федоровна.

— Я ей так и сказала.

— Ну и ладно! А где косить будем?

— На том берегу, где черная земля.

Черная земля... Я мгновенно вспомнил все марленовские места — возле ивы и на обрыве. Везде черная земля, черная глина, вернее, темно-синяя, твердая. Ну конечно же не желтая глина, не красная и не белая, а черная. В ней и ракушки, и черви, и личинки. Только там язь стоит подолгу, а в остальных местах он «про-

ходной». Сколько раз я промахивался, искал красивые таинственные омуты, сколько гороху я высыпал на известковое и песчаное дно! А Марлен становился на не приметном, вроде бы невзрачном обрывчике, но только там, где полоса черной жирной глины уходит от берега к фарватеру. И брал язей, а потом дарил это место мне, благодарному ученику, слепцу и болвану!

Я не заметил, как вылез из сеновала.

Из трубы смолокурни вился синий дым. Семеныч с Толей кочегарили, как черти. Я взял лопату и спустился к Лобчанке. Нужно было накопать веретенки, местное название — «сикла», звучит! Голавль, судак, щука, окунь — вся хорошая рыба ночью берет на веретенку, а я еще вчера решил поставить закидушки.

Разделся и, чтобы не поранить ногу, в кедах вошел в воду. С трудом вытащил на берег целую лопату жирного синего ила и стал разгребать его руками. Веретенка выскользнула из глины, как желтая паста из тюбика. Опять вошел в воду, загнал лопату в ил и опять выволок его на берег. Когда я перевернул с полтонны земли, у меня в бидончике было двадцать четыре веретенки. Восемь донных удочек по три крючка на каждой, итого двадцать четыре. Я ополоснул лопату, поднялся выше по течению, где вода была чистой, и смыл с себя глину. Оделся, посидел в тени, покурил, выплеснул из бидона мутную воду, нарвал травы, намочил ее, закинул в бидон. В траве веретенки пустят слизь и будут жить до вечера, а в воде подышают через полчаса.

Дачники варили уху, играли в шашки и проверяли жерлицы. Противоположный берег тянулся песчаной отмелью и переходил в глиняный обрыв. Не помню, что я чувствовал, когда увидел плоский выступ из черной глины. Глянул мельком, испугался, а вдруг не то, еще раз мельком — оно, то самое! Узкое русло, очень темное, глубокое, цвет воды одинаковый, — значит, дно почти ровное, под обрывом промоина.

Опять испугался, что кто-нибудь прочтет мои мысли, и быстро пошел мимо цветного табора, не видя лиц и не слыша слов, потому что напротив стояли стаи громадных язей, я знал это точно, лицо мое горело, какая-то чушь лезла в башку, я забыл, что в руке у меня лопата, вернулся, отдал ее Семенычу. Закатное солнце уже рябило в соснах, в небе безмятежно кружился пожарный самолет, а по светлому Сожу плыли лодки, груженные травой. И с лугов летел тот самый запах, который бывает только в начале июля.

...Плоский выступ из черной глины. Быстро промеряю дно. Канавка на среднем забросе и на дальнем забросе — перепад, поперечная канавка.

Горло сводит холодок тревоги, и по телу идет веселая горячая дрожь. Делаю несколько проводок.

Поплавок идет боком, вздрагивает и выпрямляется после перепада.

Поклевка!

Резко подсекаю. Зацеп!

Это первое ощущение.

Толчок!

Кончик удилища резко сгибается и дрожит.

Сворачиваю язя со струи, даю ему глотнуть воздуха, на темной воде — желтый сполох и воронка.

Трещит катушка.

Ленька подводит подсак, сдаю леску, чтобы не сломать удилище, если он резко опустит подсак и рыба окажется на весу.

— Язь! — шепотом захлебывается Ленька и прижимает к рубахе сетку подсачка с бьющейся холодной рыбиной.

— В садок его!

— Сейчас!

Я уже не смотрю на Леньку, потому что поплавок идет боком и вот-вот будет перепад, а за перепадом — поклевка!

Засакаю и опять с трудом сворачиваю рыбину со струи. При забросе не выхлестнул всю леску, прижимаю ее пальцем, а лишнее сматываю на катушку, а в это время язь бросается вниз по течению, и удилище вытягивается в одну линию с леской. Сход!

Дрожащими руками достаю сигарету, закуриваю.

Ленька не теряет времени — сыплет горох на середину, туда, где поклевки.

Несколько холостых проводок, и опять поклевка.

Подсекаю такую рыбу, что по воде круги в голове — звон. Порвет!

Надо сдавать леску. Нет, лучше дать ему воздуха. Вывожу его наверх.

Снасть не предала. Веду язя поверху. Вода заворачивается пеной и хлещет в разные стороны из-под темных широких плавников. Успею довести до берега или не успею?

Есть!

— Больше двух, три будет, нет, два с лишним, а может, три,— лихорадочно бормочет Ленька и трясущимися пальцами освобождает крючок.

Еще проводка — «есть!» Ходит на струе.

— Хочешь поддержать?

— Хочу!

— Не давай слабины.

Ленька выводит язя, и я беру его в подсачок.

Солнце уже течет по черной воде, через полчаса клев прекратится; вспоминаю, в каком месте восходит солнце, часов в семь утра оно будет бить рыбе прямо в глаза,— значит, завтра только три часа ловли...

Надо кончать ловлю и сразу спать, чтобы подняться раньше всех.

Дачники все равно их не возьмут, но распугают.

— Кончаем, Ленька!

Сматываю леску, Ленька тащит подсак и весло.

В городе купил дрожжей и клеенку — заказ Веры Федоровны и тетки Сони. Достал на «Электродвигателе» тонкой медной проволоки для деда Павлюка. Старый дед. Сам скрипит, и улы разваливаются. Эхма!

На пятьсот одиннадцатом километре рассчитался с шофером с таким чувством, будто я что-то забыл в машине. Проверил рюкзак — все на месте. Не в машине, а в Могилеве... Удочки, спиннинг, блесны, горох... Вдруг все понял и засмеялся — десять дней жизни я там забыл! И вернуться за ними уже нельзя. Одна радость — впереди их еще до черта!

В лесу пахло дождем, земля расползлась под ногами, а в Александровке на том берегу уже стояли стога. Во дворе у Леньки было пусто.

Шестилетний Сашка вытер нос рукавом и сообщил мне, что Ленька пасет коров, мама уехала в город, папка сено косит, а Валька, Галька и Томка ушли за черникой.

Я угостил Сашку конфетами, Сашка сказал «спасибо» и спросил:

— Игар, а солнце большое?

— Большое!

— А какое? Больше коровы?

— Солнце больше, чем земля!

— Ого! А земля большая?

— Очень большая. Целый год надо топать без остановок, чтобы всю ее обойти по кругу.

— Ой-е-ей! Пойду Мишке расскажу.

Сашка убежал, а я, чтобы времени даром не терять, развел за домом костер и запарил горох.

Появился Тузик, сунул свою морду в рюкзак и виновато посмотрел на меня. Дал Тузику ливера, он слопал его, облизнулся и лег в тень.

Притащился Тузик номер два, худой, черно-белый, помесь дворняги и охотничьей. Я и ему дал ливера. Мой Тузик даже не поднялся и не зарычал. Дружат оба Тузика и пищу добывают на пару. Мой старый и умнее, а тот не очень сообразительный, но бегают быстро. Охотятся они так: мой берет след, а тот гонит зайца на моего. Один точный прыжок, и завтрак есть. А вечером уточка-подранок. Если неудача, хватают кошку за шиворот и подбрасывают, пока не надоест. Мой молчаливый друг очень похож на волка, хвост висит, шея широкая, башка вниз, наверное, мешанец — от дворняги и овчарки. А Тузик моего друга Лихи задиристее, хвост трубой и шея длинная. Остальные собаки их не любят и бездарности своей им не прощают. Вечером, когда мы плетемся на сеновал, мордастые дворняги вылетают из-под ворот — и на Тузика. Лай, визг, а второй Тузик уже несется на помощь, зубы клещат, шерсть летит, совсем как я и Лиха.

Когда мы вместе, нас не очень-то легко обидеть. Я погладил черно-белого пса и вдруг представил, да нет же, просто увидел Лиху во всем его двадцатичетырехлетнем великолепии: молодой, веселый, худой, широкоплечий, загорелый, с узкими синими глазами, с жаждой язиной крови, славы, любви, удачи и всего прочего. Вместе с Тузиком целый день гонял уток. Засвистела дробь, зазвенели долины от злобного лая, высунув языки, хрипя и дрожа от возбуждения, вечером ворвались они во двор. Двустволочка у Лихи еще та: двенадцатый калибр, за двадцать километров слышно. И вообще каждое его движение — хватай, тяни, греби, лови, не отпускай, рви с корнем, дай половину, а, ерунда, ну пока! Утром я уступил бы ему свой мысок, он, конечно, нахватал бы полкорзины язей, вдвое больше упустил, потом набрал бы рюкзак боровиков и двухметровыми

шагами умчался в город, потому что, когда он бьет зайцев, его мучает, что кто-то собирается по грибы, а когда шастает по лесу, тоже терзается — ведь в это время кто-то кого-то целует; а когда целуется, душу его жжет отчаяние — кто-то пишет поэмы; а когда он пишет поэмы (он и поэмы пишет!), мучения его еще сильнее — ведь кто-то ловит язей!

Прибежал Ленька и угостил меня яблоками...

— Из Мишкиных?

— Нет, дикие. Коров пас и нарвал.

— А грибы есть?

— Мало. Дождей нету. Картошка горит.

— А Сашка говорил, что дожди были.

— Какие это дожди!

Ленька ковырнул пальцем мокрую землю, под ней была пыль.

— Понял?

— А может, сходим, вдруг боровички появились.

— Тогда пошли вниз, где окопы.

— Тут везде окопы.

— На обрыве, там лес над самым плесом. Ай не понимаешь, где криница, в которой лягушкадохлая лежала.

— А почему туда?

— Если там не будет, нигде не будет. Болото близко, воды в земле больше.

— Это идея. Бери корзину.

Ленька хмыкнул, но корзину взял.

За одичавшим садом начался ельник, потом узкая березовая роща и сосновый бор.

На склоне обрыва нашли штук сорок маслят, пересекли дубовую рощу и вышли к маленькому деревенскому кладбищу.

Зеленые холмики, кресты, тишина.

Кладбище чем-то отличалось от городского. Не только отсутствием железных изгородей, камня и цветов. Чем-то еще, но я не мог понять, чем, пока Ленька не показал на один из холмиков:

— Дед.

— А это чья?

— Не знаю.

Табличек с фамилиями и датами не было. И солдат они так хоронили.

Табличкой горе не утетишь. Вот почему столько безымянных могил на моей партизанской земле. Никаких надгробий, слов прощания и четверостиший — смерть есть смерть, народ ее понимает как самую жестокую неизбежность, без всяких украшений и жалкого тщеславия.

Я посмотрел на Леньку.

Лицо его было серьезным и спокойным.

Была середина июля, все вокруг булькало и звенело, округлялось, наливалось теплом и светом, жители и обитатели Александровки трудились на своих огородах, а для Шарика наступили черные дни.

Украл у меня копченую колбасу, за что был бит хозяином. С Тузиками тоже дружба не получалась, потому что нужно было рисковать шкурой, драться с соседними собаками и, высунув язык, бегать по лесу за хромыми зайцами, а утром — роса, холодно, спать хочется. Да и сил немного, и шерсть не густая, и злости нету, одна нежность на кривых ножках с хвостиком.

И подался Шарик в сторону приезжих рыбаков.

Те его обласкали, накормили, и через несколько дней он уже лаял на своих, а Ленькин брат Сашка так его и прозвал — «Дачник».

Поздно ночью в окне сновала появился возбужденный Ленька.

— Угостишь яблочками?

Ленька захихикал и объяснил мне, что за яблочками он не лазил, потому что смотрел кино.

— Это где же?

— В той Александровке, что через шоссе.

— А сколько до нее?

— Километров шесть. Туда шел, лосей видел. Два здоровых, один маленький.

Ленька тут же забыл о лосях и начал пересказывать содержание фильма, а мне вдруг стало стыдно. Ведь до сих пор я не свозил его в Могилев и не показал всех чудес городской жизни. А Ленька давно о ней вздыхает.

Утром он разбудил меня со словами:

— Язиков проспали!

Внизу было тихо, корову уже угнали на луг, Вера Федоровна кормила уток, а тетка Соня рассказывала, как она купила в Славгороде поросенка, а теперь он ничего не ест и дрожит мелкой дрожью.

— А, усюды свинство, купляешь одно, а приносишь другое,— возмущалась Вера Федоровна.

— Поедем в Могилев,— сказал я Леньке.

— Поехали! — благодарно засмеялся Ленька, и через полчаса мы были уже на шоссе.

Замелькали знакомые названия: Лесная, Лопатачи, Потеряевка, Грязивец, Вильчицы, Ельня, Хвойный мосток...

Поредел лес, пыли стало больше, из нее проступили котлованы, незастекленные цеха, развороченная земля, колючая проволока, огромные буквы «Лавсанстрой». Показалась труба мясокомбината. Микрорайон, Днепровский мост, подъем на кручу, особняк, принадлежавший когда-то его святейшеству, тихая улица с

пыльными тополями, и вот мы дома. Ленька познакомился с моими стариками, отец сразу пошел в кондитерский, а мама накормила нас одним из тех обедов, которые мне снились в общежитии Литинститута.

Ленька отказался от борща, творога и сметаны (это он и в деревне может поесть), а котлеты, пирожки, печенье и компот съел с удовольствием.

Целый день мы бродили по улицам, пили газировку, сосали монпансье, зашли в Дом пионеров; ничего там Леньке не понравилось, кроме авиамodelьного кружка, а когда ему объявили, что все эти планеры делаются по чертежам, он сказал, что и сам смог бы сделать такой.

Потом нас нашел Лиха, мы купили билеты в цирк для Леньки и Лихи. Лиха пропал до вечера, а мы с Ленькой пошли в зоопарк, очень кстати появившийся в городе. Толпа людей смотрела на зверей.

Медведи кланялись за каждую конфетку. Львы жили в одной клетке с собаками. Лиса с петухом ели из общего корыта. И только волк лежал в своей одиночке и холодными светлыми зрачками смотрел в пустоту. Мне больше всего понравился волк, а Леньке — жираф. В кафе-мороженое Ленька съел три порции пломбира, выпил бутылочку крем-сода, вспомнил жирафа и засмеялся.

— А как ты думаешь, — спросил я, — почему лиса и петух в одной клетке живут?

— Няволя сдружила, — сказал Ленька и заказал еще порцию фруктового.

Вот тебе и Ленька! После четвертой пришлось заказать пятую порцию — шоколадного. Я испугался, что он застудит горло, и посоветовал есть маленькими глотками, чтобы лучше распробовать вкус, но Ленька сказал, что вкус он уже знает, а поэтому ни к чему тянуть волынку, времени мало, а еще надо выпить яблочной воды.

Вспыхнули вечерние огни, в парке заиграла музыка,

пляж перекочевал на Первомайскую, замелькали незнакомые лица, пьянчужки начали обниматься с тополями, проехала милицейская «Волга» с рупором на крыше, рупор сообщил, что послезавтра лотерея, на круче завертелось обозревательное колесо, в подстриженных зарослях зазвенела гитара, пенсионеры подожгли мусор в урне и в этом веселом зареве продолжали сражаться в шахматы, неосознательные подростки взорвали бомбочку из марганцовки, и Ленька мой совсем развесялился; особенно ему понравились неоновые рекламы.

На обратном пути заехали в Лесную. Белая церковь, окруженная чугунными пушками и ядрами. Чугунные стяги, грозные чугунные орлы. Внутри церквушки — шпаги, барабаны, высокий холод... На стене слова: «Лесная — мать Полтавской битвы». Волонтеры Карла XII были здесь разбиты войсками Петра. Зеленые холмы, курганы, могилы завоевателей — все перепуталось и позабылось. Любой народ равнодушен к могилам пришельцев. В Александровке тоже есть курган — говорят, шведские стрелки, а может, драгуны Наполеона? Не все ли равно?

Ленька внимательно изучил холодное и горячее оружие. Долго смотрел на пистоль, снисходительно улыбнулся и заявил, что он такой же, как его, Ленькин, дробовик-самопал.

— Почти одно и то же, — согласился я. — А вот шпаги красивые!

— Да, насквозь запросто пробьет, — сказал Ленька. Голос его вдруг зазвенел от волнения, глаза заблестели.

— Война, Ленька, — это ужасно, кровь, боль...

— А если надо?

— Если надо, значит, надо драться до победы.

— А ты боли боишься?

— Боюсь.

- А когда тебя врачи резали, больно было?
— Очень больно. А тебе было когда-нибудь больно?
— Было, когда зубы рвал. А потом сны такие хорошие снятся.
— Какие сны?
— Ну, в общем, героические. Мучают меня, пытаются, а я — ни слова.
— И кем же ты был во сне?
— Оводом был. Капитаном Сорвиголовой. И Корчагиным был.
— И мне, Ленька, когда больно, снятся патристические сны.
— А кем ты был?
— Андреем Болконским. Я тогда «Войну и мир» перечитывал.
— Мы еще это не проходили.
— У тебя еще много радостей впереди. И Толстой и Чехов.
— И у тебя тоже!

Я, наверно, с удивлением посмотрел на Леньку, и вдруг подумалось, что впервые мы друг друга не поняли...

Три дня подряд хлестал дождь, ветер продул мой сеновал насквозь, жуткий — рвал с дубов листья, кружил солому, гнал куда-то темные тяжелые тучи. Серые хаты, мокрые бабы, затопленная, унылая дорога, чужая, оторешенная природа. Спал и днем и ночью, просыпался от холода, вздрагивал, вспоминалось что-то далекое — ни лиц, ни имен, одни только полузапахи, получувства... И тревога нарастала — непонятная, невыразимая, с обидой какой-то давней, отроческой, что ли, с надеждой какой-то щемящей...

Весь день по небу летели тучи и мели березы...

Когда выглянуло солнце и все вокруг внезапно утихло, у меня было такое чувство, как будто я выстрадал это солнце и эту тишину, а когда запели птицы, я поду-

мал о том, что есть в природе такие мгновения, когда все, что творится вокруг, переходит в какую-то иную жизнь и отзывается в твоей душе. Где-то запоеет птица, плеснет рыба, прошелестит листва, а в тебе запоеет радость, заплещет юность, зашумят голоса первых друзей.

Наверное, и мудрость коротенькой человеческой жизни заключается не только в том, что мы усваиваем весь опыт предшествующих поколений, а еще и в том, что мы повторяем многие ошибки, а значит, воспринимаем мир, как будто мы первые увидели его, все впервые: и цветы на мокрых склонах оврагов, и любовь, и стихи Пушкина, а с ними и все беды, которые старят нас и мучают. Но и дети и внуки наши повторяют наши многие ошибки и беды, потому что без этого и первозданных радостей им не узнать...

Необычайно тихое утро. Туман медленно летит вниз по реке.

На несколько мгновений в небе образуется синяя пустота, прорыв куда-то в бесконечность, и снова серый, скользящий туман.

Еле ощутимый дождь.

Весло, брюки, рубаха — все покрывается влагой и тускнеет.

Отвязываю лодку, гоню ее вдоль обрыва, быстро соображаю, на каком расстоянии от берега заякориться. Куст будет мешать забрасывать, — значит, полтора удилща от берега, почти два.

Необычная мысль мелькает и дразнит, но записать ее некогда. Потом, может, вспомню, а может, и не вспомню.

Проплываю чуть выше куста, опускаю груз, лодку сносит, веревка натягивается, стою как раз напротив куста, опускаю второй груз, сыплю горох.

Делаю первый заброс, чтобы точнее определить дно. Поплавок проходит полметра и ныряет.

Подсекаю!

Сильный толчок.

Вывожу небольшого леща.

Споласкиваю с пальцев слизь. Ихтиологи пишут, что пораненная рыба предупреждает стаю об опасности выделением какой-то слизи, поэтому я всегда споласкиваю руки, а потом уже наживляю горошину. Делаю проводку, не меняя дна. Поклевка!

Вывожу полкилограммового языка. Ближний заброс — поклевка. Глухой удар передается по удилищу, леса чертит туманную воду, рыба идет под лодку; быстро подматываю лесу, в подсачке — лещ!

Выкуриваю сигарету. Вытираю руки глиной, чтобы сбить запах табака, наживляю горошину.

Забыл прикормить, сыплю горох. Слишком много, надо сыпать меньше, но чаще, тогда стая не уйдет, наверное, здесь они и зимуют...

Делаю проводку, на исходе — поклевка, кончик удилища почти достает до воды, сдаю леску, рыба бросается вниз, разворачиваю ее и веду под углом к лодке, опять сдаю леску и опять тащу рыбину к лодке, в глубине — длинный латунный сполох, вывожу его на поверхность — язь! Только бы дотянуть до подсачка... Беру язя, килограмма два с половиной, жабры такие упругие, что пальцы разжимаются, уже в садке язь зевает и плюется. Увеличиваю глубину, сразу после подсечки — зацеп! Вдруг «коряга» оживает, несколько жутких рывков и сход.

Меняю поводок с крючком, делаю несколько забросов, теперь и в самом деле зацеп. Рву поводок. Значит, коряга все-таки есть, это хорошо, запоминаю приблизительно то место, где она лежит.

На несколько минут река тускнеет, дождик шуршит

в воздухе, леска и удилище намокли, никак не удаются дальние забросы, а там самая крупная рыба.

Ставлю большую картечину и меняю поплавков. Наконец-то удачный заброс. Подсекаю язя. Удилище скрипит, проворачиваются соединительные трубки, «держись, родная», из воды вылетает широкий черный плавник, сдаю леску, вожу язя вокруг лодки, вижу огромный желтый рот, крючок сидит в губе, если даже возьму, все равно минут десять клева не будет: все распугал.

В садке он приходит в себя и начинает бухать так, что, наверное, возле смолокурни слышно. Толя машет рукой: мол, давай в том же духе!

Приподнимаю садок и сразу его в воду — нитки трещат!

На том берегу появляются Ленька и Сашка, кричу им, чтобы принесли пару корзин, «беру» еще одного язя и, взмахнув руками, мысленно перелетаю через Сож, сажусь возле приезжего рыбака, вынимаю из его пачки сигарету — а на том берегу в лодке сидит человек, очень похожий на меня, удилище в его руке ходит ходуном, вода возле садка бурлит воронкой, глаза от неба — синие, от леса — зеленые...

— Вот это дает! — шепчу соседу и вынимаю у него из пальцев спичечный коробок.

— Интересно, на что он ловит?

— Сыплет горох, а на крючок надевает что-то другое.

— Невозможно смотреть!

— Чистая работа!

— Его зовут Марленом?

— Что вы, Марлена я знаю, этот ловит еще лучше.

— Это ты брось. Ленька нам все рассказал. И еще один приезжал на «Запорожце». Он тоже хорошо ловит, но все говорят, что лучше Марлена нету.

— А, черт возьми, никакой это не Марлен, подумаешь, нашли мастера, дутая слава, ха-ха, спросите у него сами.

— Эй, вас зовут Марленом?

Человек в лодке скалит зубы и хохочет:

— Что вы, я только его ученик, а Марлен еще и не такое выкидывал!

— Дурак! Что он говорит? Марлену такое и не снилось!

А человек в лодке закуривает сигарету и после нескольких забросов подводит к лодке очередного язя.

Этот человек счастлив. Тело его дрожит от утренней свежести. Ему радостно и тревожно. Легкая тревога, неясная... Она еще не сдавила холодом горло. Он еще не знает, что через пять лет приедет на эту реку. И за целый день поймает одного язя. Вяло сопротивляясь, большая рыба подойдет к лодке. И когда он возьмет ее в руки, вся чешуя останется на ладонях... А может, этого не будет? Может, эта река останется живой и чистой? И этот дуб через пять лет будет стоять на обрыве. И Ленька...

Грачи уже сбиваются в стаи, и лесная дорога, такая мягкая и теплая в июле, стала твердой, гречка — красной, ивы покрылись лиловой пленкой...

Утром затарахтел мотор мотоцикла, и я узнал хриплый голос инспектора Белрыбвода Журова. Когда-то вместе учились в пединституте.

— Привет! — прохрипел инспектор.

Руки у него были красные от ветра, глаза слезились.

— Ну как, не глушат?

— Пока не слышно, но через пару дней последние дачники уедут, вот тогда и начнется.

— Ладно, если что, я в Славгороде, ищи в райкоме комсомола.

Кожаная куртка Журова пахла холодом и бензином.
— Крахмальный завод мы все-таки оштрафовали,— сказал он,— а что толку? Все леши на Друти подошли.

Несколько минут он и его мотоцикл чихали по очереди, наконец мотор завелся, и громадный кучерявый Журов умчался в сторону Славгорода.

Небо, река и лес — все изменилось. Вода стала прозрачней, синева — тревожней, песок — прохладней.

В глазах у Ленки появилось беспокойство, а Тузик оживился: наступило время охоты. Его тезка прибежал из соседней деревни с куском проволоки на шее. Второй раз Толя продает его, второй раз худой, грязный пес возвращается к хозяину. Мы отпраздновали это возвращение банкой свиной тушенки, и оба Тузика благодарно улыбнулись мне. А на стоянке дачников стало тише. Первый багрянец на листьях, крепкие яблоки, каленые орехи, четкие мысли, бодрая воля — и вокруг тебя и в самом тебе август!

Сегодня — день отдыха. Сочетаем приятное с полезным: пишем письмо в редакцию областной газеты.

Ленька придумал название: «Без воды ни туды и ни сюды».

— Поместят в отдел юмора и никак не прореагируют,— говорю Ленке.— Надо назвать просто, например: «Деревне нужен колодец».

— Так и называй,— соглашается Ленка.

— Сколько лет вы живете без колодца?

— Года четыре, как высох старый.

— Так и напишем: «Вот уже четыре года, как в деревне Александровка люди пьют воду из реки, а сельскому Совету платят налоги за пользование колодцем».

— Все верно!

— А что дальше писать?

— Пиши, что вода в реке грязная, хвороба всякая плывет. А летом пить охота. Косить сено пойдешь, во рту пересыхает. Работать тяжело.

— А знаешь, Ленька, за четыре года можно было своими силами вырыть десять колодцев.

— Нет, нельзя!

— Почему?

— Место высокое, рыли, рыли, ничего не получается. Уходит вода.

— Ладно, так и напишем. А кончим тем, что строительство колодца благоприятно повлияет на производительность труда. Верно, а?

— Чаво не знаю, таво не знаю, дописывай статью.

Идем с Ленькой по грибы. Дачники тоже решили отыгаться на боровиках.

Где-то справа уже трещат ветки, звякают ведра. «Ау, Маша, ау, Коля!» Я не люблю, когда в лесу много грибников, но это нашествие на содержание моей корзины не влияет. Рыба любит рыбака, а грибы — грибника.

Дачников пропускаем вперед. Сидим, улыбаемся, я курю, а Ленька хрустит морковкой.

Голоса грибников становятся тише, глохнут и тают в холодной яркой синеве. Идут, конечно, вдоль дороги. Вдоль дороги всегда много белых грибов.

Но горожанин есть горожанин. И в лесу он невольно соблюдает правила уличного движения, то есть идет по правой стороне дороги. Инстинкт самосохранения и сила привычки тянут его вправо, а мы переходим на левую сторону и срезаем такие боровики, что Ленька булькает и захлебывается от восторга, пальцы ноют от холода, остекленелый бор опьяняет и шумит в крови.

Лес шумел, и, когда они бросили первый заряд, мы

не слышали. Спустились к реке и в заливчике увидели сомика. Я зацепил его блесной и подтащил к берегу. Жабры были красные... И в это время бахнуло два раза подряд. Мы побежали к Лобчанке, раздвинули кусты и замерли... Двое в резиновой лодке с подсачками, один на берегу.

— Вот они,— тихо сказал Ленька.

Я сделал несколько бесшумных шагов в сторону, и газик уставился на меня своими стеклянными глазами.

— Так,— сказал я ему,— так, так...

Мужики здоровые, защищаться будут отчаянно, отобьются. Надо срочно бежать в деревню.

— Ты за Толей, я за Мишкой, и хватит,— на бегу шептал я Леньке.

Возле хаты бабы Орины Ленька вдруг остановился.

— Ничего не выйдет,— выдохнул он.— Все в поле, эх, дурак я, забыл, две машины полненькие укатили...

В Александровке двадцать хат, мужиков и того меньше — как же я не сообразил, что все на уборке в центральной усадьбе. А это километров десять. До Славгорода тоже десять. Удержать я их могу, а что толку? Не пойман — не вор. Свидетелей нету.

«Если что — я в Славгороде», — вспомнил я.

— Ленька, бери велосипед, гони в Славгород к Журову!

Через минуту Ленька был уже на велосипеде.

— Вся надежда на тебя! — крикнул я ему вослед.

— Вся надежда на тебя! — повторило лесное эхо.

И казалось, что это лес крикнул Леньке:

— Вся надежда на тебя!

Не помню, как в моей руке оказалась коричневая сосновая шишка. Наверное, рука искала камень или палку. Я лежал на обрыве в сосняке и наблюдал за ними. Они уже делили рыбу. Маленькая сосновая шиш-

ка впилась в мою ладонь. Я разжал пальцы, и тут меня «осенило». Коричневая, овальная, совсем как ротор.

Я бесшумно подошел к газiku, отстегнул брезентовый верх, осторожно залез в кабину и потянул ручку — капот открылся.

Они еще возились на берегу, было слышно, как из резиновой лодки выходит воздух.

Я вылез из кабины и отсоединил ротор от распределителя. Теперь они никуда не уедут, а если не услышат, как я закрою капот, даже не догадаются, почему мотор не заводится... Неужели эти свиньи лодку не помогают?

Наконец они несколько раз оглушительно шлепнули по воде, я захлопнул капот, удары совпали!.. Потом я застегнул брезент и пошел в деревню. Часа через два Ленька примчался с Журовым. Накрыли мы их вместе с «уловом» и даже шнуры бикфордовы нашли в багажнике.

Набрили на гнездо какой-то пичуги. Ленька сунул в него руку и сказал:

— Теплое, только что улетела...

А на стоянке дачников ветер кружит клочья бумаги и золу. Пусто. Все уехали. Братская могила шведских стрелков осыпана красными листьями.

Спустились к реке. Вылили из лодки воду. Проверили закидушки. Ленька вытащил налима.

Сплыли к заливу. Еще две скользских, пятнистых рыбыны. Вот и налимы — вода совсем холодная. Это уже осень!

В ельнике — одичавший сад пана Садиловского, высокая трава, песок, рыжики. Набрали целую корзину. Червивых почти нет. Ранняя осень. Ленька ни с того ни с сего:

— Е-мое, скоро в школу.

На бывшей стоянке откопали банку свиной тушенки. Ленька аккуратно нарезал хлеба, ополоснул помидоры и выпотрошил налимов.

На дым костра подошел Семеныч, а потом прибежал мой Тузик. Дружно пообедали.

Вернулись в деревню. Вера Федоровна тоже только возвратилась из лесу с огромной корзиной боровиков. Шурует ухватами. Радостно жалуется на жизнь:

— Ой, Игар, спать нема кали, корова, утки, свиньи, да еще своих шесть поросят. А тут грибы, ой как растут, как растут. И черноголовики, и красноголовики. Печка уся забита. Сушить нема где. Иван, топи баню. Ленька, беги бегом, нарежь лазы. Грибы нема на что низать...

Я вымыл эмалированное ведро, уложил в него рыжики, каждый слой пересыпал солью, чесноком и лавровым листом. Выстругал круглую дощечку, придавил грибы камнем и отнес ведро в погреб.

Вера Федоровна хотела помочь, но я отказался; у нее своих дел столько, что дня не хватает. Боровики — дело такое — каждый час дорог. Зимой она отвезет их в Ленинград или в Москву, всю семью оденут и обуют эти грибные деньги, еще и на корову останется.

А Ленькина мама опять за корзину — и в лес.

— Иван, гуляй с нами? — кричит она Семенычу.

Но у Семеныча спина побаливает, он скрутил сигарку, затянулся и нежится на солнышке.

Красно солнце выплывает из белого тумана, а Ленька уже тащит на спине мешок с желудями. Шепчет мне:

— Иди в дубовую рощу, там есть боровички молоденькие...

— Пойдем вместе.

— Жалуды надо таскать.

— Три мешка хватит?

— Ага.

— Бери мешки, гони лодку.

Через пару часов набили лодку желудями, выгребли к деревне, поели — и в рощу. Тузик захлебывается от лая — увидел белку. Прибежал второй Тузик. Сели под сосной, лапы вместе, головы вверх, смотрят, облизываются.

Мглистой лентой возле ноги мелькнула змея. Не успел рассмотреть, уж или гадюка. Спустился по сырому склону, заросшему папоротником, вдруг почувствовал боль, на миг стало не по себе, но тут же вспомнил, что оцарапал ногу, когда лез через валежник, засмеялся, позвал Тузика. Прибежали оба, языки висят, бока ходят, в глазах разочарование — зайчика упустили. Недовольны мною: хожу без ружья. Полежали в тени: листья шуршат в воздухе, паутина летает, тихо, сухо, грустно.

Странные вещи со мной происходят в лесу: только войду, сразу какие-то мысли удивительные и чувства незнакомые, выхожу — все забываю. Отбирает лес. Дарит и отбирает. Однажды я даже вернулся за ними, сделав несколько шагов, засмеялся над своей наивностью — и назад, на шоссе.

— Ау, Леня!

— Ау,— неохотно откликается Ленька. Наверное, нарвался на целую колонию белых.

У меня уже начались грибные кошмары. Глаза невозможно закрыть — черная шляпка и толстый белый корень! И у Леньки то же самое.

Встретили Мишку, приуныл парень: матушка гонит с утра по грибы, надоело, роса замучила, спать охота...

Так бывает только осенью — одна и та же мысль в одно и то же мгновение пронзает нас, и никаких слов не надо, все до отчаяния ясно, как небо в дырявых

кронах, как вода под лодкой, все строго, тревожно и безвозвратно. С утра дотемна шатаемся по лесам, пьем ледяную воду из темных родников, ночью разводим большой костер, вершины дубов шумят, а на том берегу от крика диких гусей дрожит черный воздух.

Просыпаемся, перемазанные глиной, с соломой в волосах, на Лихиной двустволке — иней. Тусклое солнце тихо встает над нами. На огородах бабы копают картошку и жгут сухую ботву. Синий горький дымок висит над полями. Гречку уже убрали и лен увезли, и грачи уже улетели.

Шарик вернулся в отчий дом. В глаза хозяину не смотрит. Скулит и подлизывается к Тузику.

Дед Павлюк попросил меня поймать рыбы. Это, конечно, не прихоть. Точно так же и Тузику иногда надо съесть какую-то лесную траву или пожевать кору.

Прибежал из школы Ленька. Мы наладили спиннинги и пошли к плесу. Для верности я надел любимую блесну из красной меди, похожую на изогнутый ветром ивовый лист. Сделал несколько забросов вдоль берега, послал блесну к небольшому островку ряски, сразу — резкий удар, в светлой воде с блесной во рту заметалась щука. Выволок ее на отмель, закуканил на ветку лозы, спустился к полузатопленным корягам, заброс — удар!

Сильный, плавный нажим, рывок в сторону, опять сильный нажим и рывок — крупный окунь вывернулся возле самого берега, ткнулся носом в глину, блесна опустилась на дно, а он оторопело посмотрел на меня, постоял несколько секунд, развернулся и медленно пропал в глубине.

«Взял» еще две щуки граммов на шестьсот—семьсот, вернулся к Леньке.

— Как дела, Леня?

— Катушка сломалась. Раза три кинул, и все.

Спиннинг у Леньки старенький, леска с узлами, сопит мой Ленька, прикручивает какую-то проволочку...

— А, Леня, мертвому припарки не помогут, он свое отслужил, возьми мой, я его давно хотел тебе подарить.

— Спасибо,— грустно говорит Ленька.

— Тебе что, не нравится моя снасть?

— Скоро уедешь? — спрашивает Ленька, как будто не слышит моего вопроса.

— Да, Леня, скоро уеду.

— Е-мое, друзей нету, один Вовка, но хитрый, гад, усе на меня валит.

— Это как понять?

— Что ни сделаем, один я отвечаю.

— А, Ленька, не горюй, хорошие люди всегда и за себя и за других отвечают. Бери спиннинг.

— Спасибо, а с блесенкой можно?

— Можно. Я тебе всю коробку оставлю. Счастливые блесны.

— Я им дам сейчас жару,— бормочет Ленька, будто щуки виноваты в том, что осень пришла и вот-вот разлучит нас на полгода, и что вчера он двойку получил по русскому языку, и что родители вечером уезжают в Славгород и завтра ему придется целый день качать маленького Мишку и справляться по хозяйству.

Дед Павлюк поблагодарил за рыбу, угостил меня медом. Посидели, поговорили о жизни, о деревне, о Леньке. У деда есть причины не любить нашего маленького друга, потому что сад его смотрит прямо в окно Ленькиного сеновала; высунешь голову, и груша сама по зубам — стук! А Ленька живой человек, очень живой, и все слабости человеческие ему не чужды.

И все же дед Павлюк добрых слов сказал о нем

больше: осень, сад отшумел, груши проданы, яблоки лежат на чердаке, даже у юристов есть такая графа — «за давностью».

В лесу синего уже больше, чем желтого. Куда ни глянешь — просвет в небе. Неожиданная пустота пугает. Не успел привыкнуть.

Ходил с маленьким Сашкой за опятами. Вдруг он сказал:

— Ой, как много неба!

Ночью вдруг появился Лиха. Привез целый мешок пирогов, колбасы, помидоров и вина. Пошли проверять донки и увидели огромное красное зарево. Где-то возле Добрянки горел стог. Лиха вспомнил, как в детстве он поджег экскаватор.

— Понимаешь, экскаваторщик ни за что по шее мне надавал. Пьяный был. Ну, думаю, ладно, гад. Ночью в ведро с соляжкой сунул тряпку и зажег. Полгода резину тянули. Расспрашивали, а я на своем: ничего не знаю, спал.

— А чем кончилось?

— Ничем. Прекратили из-за несовершеннолетия подозреваемого. Ну, старший брат пару раз дал по голове, переносицу перебил. А теща хирург — выпрямила в прошлом году.

Лиха улыбается, и отблески зарева выхватывают из тьмы его тонкие ноздри и белые зубы.

— А сколько тебе тогда было?

— Столько же, сколько Ленке: двенадцать.

— Ленка все же сообразительней.

— А что он поджег?

— Он в прошлом году пожар потушил.

— Иди ты, а мне он об этом не рассказывал.

— И нам тоже. Дед Павлюк случайно вспомнил.

— А где был пожар?

— Видел возле завода обгорелый ельник?

— Видел.

— Ленька и Сашка пошли за маслятами, а из леса черный дым валит. Не тот Сашка, который сосед, а тот, который из Минска приезжает. Высокий и тихий такой мальчик.

— Ну, знаю! И что, вдвоем они потушили пожар?

— Ленька быстро смекнул, что надо делать. Рядом болота, а в болоте — илистая жижа... Забросали огонь, затоптали, а потом испугались. Ленька так и сказал Сашке: «Молчи, а то подумают, что мы зажгли». В деревне, конечно, об этом узнали, Сашка сильно обжегся, да и Ленька тоже.

— Ну, и что им за это дали?

— По-моему, ничего.

— Ха, я бы себе медаль выхлопотал.

— Ты что, шутишь?

— Я не шучу. Хотя шучу... Нет, не шучу. А, шучу!

— Ну, Лиха, в смысле будущего никакой на тебя надежды нет.

— А на кого надежда?

— На Леньку.

— А, посмотрим... Ха-ха, посмотрим.

Лиха уехал в город, а я остался, потому что Ленька был еще в школе, а не попрощаться с ним я не мог, хотя понимал, что я совсем уже не тот человек, который прожил здесь свои летние дни. Тот человек остался в своих вечнозеленых лесах, бродит сейчас где-то возле темной и теплой летней воды, зажигает костры, аукается с Ленькой и мокнет под дождем, а его плоть, чувства, мысли и опыт перешли в меня. Сколько таких двойников оставляем мы в разных городах, на палубах пароходов, на осенних паромах, под уличными фонарями, в квартирах друзей и на перронах! Да и Ленька уже не тот, который вместе со мною столько раз встречал солнце, и хохочет он уже по-другому, так что попро-

щаться должны были два совсем других человека, попрощаться не друг с другом, а с теми, кем они были и уже никогда не смогут быть...

Ветер, как из трубы, дул по руслу, рвал с берез листья и с клочьями соломы кружил их над Сожем.

Возле лодок стояли мы с Ленькой. Подбежал Тузик, обнял лапами мою ногу. Я погладил его и пошел по желтой размытой дороге. В конце деревни оглянулся — на опустевшем берегу, под огромным осенним небом стоял человечек в ситцевой рубахе.

Я оставлял ему покрытые инеем стога, безмолвные плесы и облетающие леса... Весь свой осенний родной край.

II





ГРИБНАЯ ОСЕНЬ

Федор закрыл глаза и увидел в траве иссиня-черную шляпку боровика. Пальцы тревожно холодила развороченная корнями земля...

Федор открыл глаза.

Иванчик лежал рядом, и его лицо было бледным от лунного света.

— Тебе не холодно? — спросил Федор.

— Уже согрелся... А днем купались.

— Да, первая ночь такая холодная.

— Завтра в школу идти...

— Спи, Иванчик.

Федор закрыл глаза и увидел три еловых боровика. Они стояли на дне окопа. Корни боровиков были белыми и твердыми.

Федор открыл глаза.

Луна заливала половину лица Иванчика и угол сеновала.

Внизу грустно вздыхала корова.

Федор закрыл глаза и увидел целую колонию дубовых боровиков.

Весь день Иванчик и Федор собирали грибы в большом лесу, а потом набрали на эту дубовую рощицу возле Сожа. Дубровники были большими, тяжелыми и все — чистыми. От них пахло холодом и крепостью какой-то радостной!

Федор открыл глаза и перевернулся на бок. Луна заливала стену Иванчикова дома и мокрые, нацеленные в космос оглобли.

Федор закрыл глаза и чуть не вскрикнул — впереди, слева и справа во мху торчали золотистые и черные шляпки белых грибов. Лес аукался, и пронумерованные сосны раскачивали небо. Падали дубовые листья. Из окопа появилась рука с лукошком, потом, опираясь на костыль, вылез улыбающийся грибник. Роса блестела на заклепках костыля. Штанина размоталась, инвалид запрыгал к сосне, прислонился к ней спиной и выкрутил намокшую от росы штанину.

— Смотри, какие! Смотри, сколько! — закричал он Федору.

Лицо у старика было счастливое.

И вдруг Федор подумал, что он уже не боится счастья. В двадцать лет он презирал это слово. Тогда он любил риск, удачу. А в тридцать он полюбил счастье. Во всяком случае, ему не стыдно быть счастливым...

Инвалид улыбнулся Федору и сказал:

— Все бегут, бегут, ну, куда мне за ними. Но я — хитрый грибник, уж я-то знаю, что в окопах беленькие даже без дождей растут. Здесь мы в сорок первом оборону держали. Танки Гудериана перли вон оттуда и оттуда, отовсюду перли, мать их так! А вон там... А, что говорить... Ого, да у тебя вдвое больше, чем у меня. Силен, люблю таких глазастых. А пацан — твой?

— Нет, не мой, местный, а я из города, друзья мы.

— Так вы места знаете. А я все по окопам. Сам видишь — грустное дело. А все лучше, чем на срезанные корешки смотреть. Все бегут, бегут... Время теперь быстрое.

Федор открыл глаза.

— Ты не спишь, Иванчик?

— Не сплю. Глаза не могу закрыть. Сначала один, потом пять, а потом штук десять и все черноголовые! Так их вижу, что хоть ножик доставай!

— И у меня тоже, Иванчик, грибы в глазах стоят. И луна прямо в душу светит, поганка бледная.

Иванчик захохотал, да так звонко, что внизу свинья проснулась и недовольно захрюкала.

— Слушай, Иванчик, ты всегда меня выручал, как бы это заснуть, а? У меня завтра трудный день, вставать надо раньше солнца.

— А ты расскажи что-нибудь скучное, тогда мы заснем.

— А у меня все веселое.

— А кто тебе синяков наставил? Ты приехал весь черный, мама напугалась...

— А, побили меня.

— Кто побил?

— Как бы это тебе сказать, вроде бы люди, а на самом деле нет. В общем, питекантропы!

— Какие такие питекантропы?

— Ну, здоровые, злые, волосатые...

— А как вы их поймали?

— Как поймали...

Федор закрыл глаза.

Боровики, как живые, шарахнулись в разные стороны. Замелькали забрызганные грязью березы. Журов выжал газ до предела, и Федор чуть не вылетел из коляски.

— Осторожнее! — крикнул он Журову.

Громадный, кучерявый, в пыльной кожаной куртке, Журов и в самом деле был страшен. Недаром его прозвали грозой браконьеров. Журов гнал мотоцикл по проселочной дороге вдоль озера.

— Накроем! — крикнул Журов.

— Накроем, обязательно накроем, вон они...

Федор увидел брезентовый верх газика и на ходу выпрыгнул из коляски. Нырнул в орешник, подполз к обрыву и увидел их в плоскодонке возле камышей...

Мотор уже тарахтел на противоположном берегу озера. Двое мужиков, оглядываясь, лихорадочно выбирали сеть. Журов остановился напротив них, заглушил мотор, спросил:

— Ну, как рыбка?

Увидев, что он один и без лодки, лысый старик сморщился и крикнул Журову:

— Плыви сюда, инспектор, может, твоя драндулетка и по воде ходит, а?

Второй, рослый, белобрысый парень, трусливо засмеялся.

— Плыви сюда, инспектор, — повторил он.

Журов начал медленно раздеваться.

Белобрысый развернул лодку и погнал ее к обрывистому берегу, где стоял газик. Потом выпрыгнул из лодки и потащил по траве мокрый мешок с рыбой.

— Ку-ку, а вот и я!

На обрыве перед браконьерами стоял Федор. Он стоял перед ними и улыбался. Обычное дело. Сейчас

будут просить, чтобы акт не составляли, унижаться, рассказывать о своих «бедах»...

Но белобрысый пошел на Федора. Федор сбил его с ног и сам упал от удара в затылок. Белобрысый оказался наверху, и они покатались в кусты.

«Только бы не разжать руки»,— мелькнуло в угасающем сознании Федора. Страшные удары оглушили и ослепили его.

Мотоцикл Журова приближался, хлопнула дверца газика.

— Скорее, сбрось его,— завизжал старик, заводя мотор, но Федор мертвой хваткой вцепился в куртку белобрысого.

— Бей, бей,— равнодушно повторял он, улыбаясь разбитыми губами. Рыжая голова Федора моталась от ударов.— Бей еще, гадина, теперь я тебя обязательно посажу. Не за браконьерство, так за хулиганство.

Журов выскочил из мотоцикла...

Белобрысый попытался выскользнуть из куртки. Федор уже смутно видел его, полуголого, заросшего белыми волосами.

Искаженное страхом и злобой лицо белобрысого и в самом деле было похоже на лицо питекантропа. Огромный белый питекантроп душил и бил его!

— Вот тебе, тварь! — заорал Журов, и белобрысый отчаянно рванулся от Федора.

Рука инспектора судорожно вцепилась в брезент, на котором лежали остатки еды и недопитая бутылка. Медленно, словно во сне, Федор увидел, как с обрыва катится яблоко, выливается водка, летит в темную воду колеблющаяся тарелка, потом в космос стало вытекать озеро, полетела куда-то в тартарары земля и солнце погасло во тьме.

Через несколько тысяч лет Федор очнулся и замотал башкой — вокруг были люди. Журов и эти двое...

Федор спустился к воде, смыл с лица кровь и ощу-

пал землю. Все было на месте. От слабости дрожали ноги, и Федор долго не мог сжать губами сигарету. Наконец он воткнул ее в омертвевший рот и негнушавшимися пальцами достал спичку.

— Все в порядке,— сказал Журов,— поехали.

Браконьеры полезли в газик. Журов завел мотор, оглянулся и пригрозил:

— Руки связывать не буду, но без шуток.

— Не бойся,— буркнул белобрысый.

— А мне бояться нечего. Это тебе надо бояться.

— Вы его не так поняли, товарищ начальник, он хотел сказать, что мы, да куда уж нам... Первый раз на такое пошли... Племянничек он мне... В гости приехал, мы ведь люди, договоримся, не пожалеешь, дети у меня, жалко их...

— Заткнись, гнида,— сказал Журов лысому.

Газик подпрыгивал, Федора подташнивало.

На окраине города Журов притормозил возле небольшого домика с надписью «Медпункт».

Аккуратный дворик, огороженный свежим частоколом, был залит солнцем. Дверь медпункта отворилась, и тут инспектор лесов и вод Федор Колхуто впервые увидел Любу...

Сначала он увидел ее фигуру, плотную и плавную, потому что солнце ослепило медсестру и она закрыла лицо ладонями.

Федор увидел ее фигуру и хмыкнул. И сказал: «Ку-ку!» И свистнул протяжно. И еще что-то веселенькое хотел сказать Журову, но Люба опустила руки, и ее лицо приблизилось к Федору.

Оно было таким ясным и тихим, словно лесная поляна. И на этой поляне били два холодных родника. Это были ее глаза.

«Ну и что?» — подумал Федор.

Он подмигнул Любе и застонал. И пошатнулся,

чтобы опереться на нее. И обхватил ее за талию, охая и ахая. Но Люба спокойно подвела его к скамейке.

Наверно, Федор и в самом деле был страшен, потому что на ее лице появилась сострадательная гримаса. Федор опять подмигнул Любе, и, когда гримаса пропала, лицо медсестры стало прекрасным.

«Ну и что?» — подумал Федор, и, пока Люба бинтовала его голову, он изъерничался, как никогда, пьяный на танцплощадке он такого еще не выкидывал. Может, от боли это? Люба молча промыла его ссадины и заклеила их пластырем.

— У тебя, наверное, сотрясение мозга, сходил бы к врачу.

— Давай вместе сходим, тебя как зовут?

— Любой меня зовут. Сам дойдешь.

— А меня Федором. Запомни это имя на всю жизнь!

Люба выглянула в окно и сказала Журову:

— Перевязка закончена, забирайте своего дружка.—
А потом Федору:— Чего уставился, я рыбу из пруда не ворую.

— В кино сходим?

— Нет.

— А в ресторан?

— Нет.

— Я еще заеду, хорошо?

Люба уже не смотрела на Федора, ему даже показалось, что он напомнил ей что-то давнее и неприятное.

Подумаешь, мало ли что ему могло показаться.

На следующий день Федор проснулся в половине шестого. В его комнате было чисто и радостно.

Он быстро оделся и вскипятил чаю.

Усмехнувшись, посмотрел в зеркало. Лицо превратилось в синюю подушку.

— Недооценил я лысого, вовремя не оглянулся, так мне и надо...

Как всегда, быстро начал есть, вскрикнул от боли, медленно дожевал бутерброд и вышел во двор. Старые тополя уже пожелтели, а молодые стояли еще зелеными. Возле сарая пахло горькой травой, колючками какими-то... Федор открыл заиндевевший замок и выкатил мотоцикл.

Было без десяти шесть.

Запах бензина еще не отбил горьковатый запах печальной травы, и Федор вспомнил, как десять лет назад он шел в боксерский зал на свой первый бой. Днепр просветлел, пляжи опустели, и в воздухе стояла эта саднящая горечь прибрежных колючек.

Федор волновался. И никогда эти колючки не пахли так остро, как в тот день, за два часа до выхода на ринг. Разве только в ту осень, когда Валентина уезжала в Севастополь. Как они мучали друг друга! Тысячи, да нет же, сотни тысяч их двойников живут в этом городе. Ведь в каждое мгновение отделяется от тебя двойник. Злой, веселый, добрый, несговорчивый, грустный, непонятный, обиженный двойник. И чем больше плохих двойников отделилось от тебя, тем хуже сейчас кому-то. Сколько их, самых разных, отделилось от Федора, и увязались они за людьми, с которыми у их хозяина были мимолетные встречи. Но именно таким, каким он был в те мгновения, люди запомнили его...

А потом приехала Валентина, и миллионы двойников превратились в два враждующих народа, хотя их властители уже стремились к миру... Конечно, любовь — дело личное, но нет на земле такого личного несчастья, которое не отразилось бы на тебе. Если только это в самом деле несчастье... А у нее так много ненастоящих несчастий.

«Что это со мной?» — подумал Федор и почувствовал в прокуренном горле металлический холодок полузабытой юношеской тревоги.

Он выехал на Пионерскую улицу и включил третью скорость. Ветер обтянул кожу на его лице, и Федор всем телом почувствовал сопротивление тугого холодного воздуха.

Он любил это постоянное, физически ощутимое сопротивление жизни. Оно стало его профессией и кормило хлебом.

Разве этот хлеб слаще учительского? Осень опять напомнила ему о школе, о его первой профессии. После института он попросился в сельскую школу. Преподавал географию — «бесперспективный предмет»... Однажды в конце весны, когда Друть вошла в берега, Федор шел по размытой песчаной дороге. Только зацвела черемуха. Теплый ветер разносил по долине запах черемухи и тлена. Вода отступила, и на огородах догнивала рыба. Вдали дымил крахмальный заводик.

В эту весну Федор ушел из школы, вернулся в город. Он стал инспектором лесов и вод...

У Днепра Федор притормозил и выключил мотор, мотоцикл сам докатился до крыльца рыбнадзора...

Журов уже сидел за своим столом.

— Ну как, жрать можешь?

— Рот почти не открывается.

— Так я и думал. А башка болит?

— Мутит немного, а вообще здоров.

— Пройдет! Только не пей пока.

— Спасибо за совет. Ты, Журов, настоящий друг, отучил меня от пьянства.

— Ладно, а вот скажи, почему мужики пьют?

— Жить стали лучше, а культурно деньги тратить не научились.

— Ерунда! Бабы к мужикам стали плохо относиться. Вот они и пьют.

— Ты это всерьез?

— А что? Любовь — это теперь редкая птица, как

тетерев, на сто верст один хвост. Кстати, командировка отменяется.

— Это почему? — удивился Федор.

Журов был очень здоровым человеком и редко отменял командировки.

— Понимаешь, какое дело, мы на Чигиринку идем, а они у нас под носом мережи ставят. Любужский пруд знаешь?

— Еще бы.

— Карпа там — сотни тонн. А сторож... Короче, появились какие-то «любители». Старика трешку сунут: иди, папаша, купи внучку конфет, а мы удочками побалуемся... Папаша домой, а они мережи вытрясли, заново поставили и адье! Понял?

— Понял! В Любуже, значит?

— Да, в Любуже. А ты чего радуешься?

— Кто радуется? Я радуюсь? Да ты что! — радостно возмутился Федор.

— Стоп! Все ясно, медпункт тебя интересуется, правильно я понял?

— Ничего ты не понял!

Журов потянулся, аж кожаная куртка затрещала, хлопнул Федора по спине. Вышли на крыльцо.

В прозрачном воздухе висела золотистая паутина. Над Никольским собором плавно кружила безмолвная стая грачей.

«Порубили тополя и развратили птиц, не хотят улетать, на помойках зимуют», — думал Федор.

Днепр был светлый и тихий.

Дым от костра поднимался вертикально вверх.

И опять налетел этот запах осенних колючек и еще какая-то ерунда чудесная, полузабытая...

— Что с тобой? — вдруг спросил Журов.

А что он мог сказать Журову? Трава, колючки, горечь, тревога — черт знает что, смешно!

Журову можно рассказать о деле, о бабах, а это чушь бессловесная. Никому не расскажешь.

«Сейчас поедem, и все пройдет»,— подумал Федор. А еще он подумал о том, что Любужский бор — самый тихий на Могилевщине, потому что начинается сразу за городом и к тишине привыкнуть не успеваешь...

В узких протоках, соединяющих большой пруд с маленькими, они выудили баграми двадцать три. мережи и сожгли их на костре. Журов остался обедать у бригадира, а Федор поехал на заправочную станцию.

На Оршанской дороге «голосовали» грибники.

«Автобусы уже пропахли грибами,— с грустью подумал Федор,— люди семьями едут, варят, солят, сушат... Грибная выдалась осень».

Однажды Журов у него спросил: «Сколько ты за день белых набрал?» — «Ну, триста, может, немного больше». — «А я тысячу». — «Где?» — «На полигоне! С военкомом в воскресенье ездили. Там все офицеры с утра родной земле кланяются». — «Ну, там и две тысячи можно взять». «Можно,— спокойно согласился Журов. И спросил:— Съездим в субботу?» — «У тебя жена, дети, а мне зачем столько?» — «А ты женись на своей Вальке, хорошая баба. К свадьбе, так и быть, выпишем тебе лицензию на лося. А хочешь, на кабана?..»

Федор притормозил возле медпункта.

— Привет, дорогуша,— сказал он Любе веселым нахальным голосом.— Вот, приехал на перевязку, бинт пропылился, так и заражение крови можно получить.

Люба молча достала пузырьки с зеленкой и йодом, сморщилась, отделяя бинт от раны, сменила повязку. И все это она сделала, не глядя на Федора, как будто он и в самом деле напомнил ей что-то нехорошее.

— Ты почему на меня не смотришь? — спросил он.

От Федора пахло холодом и лесом, он был рослый и сильный.

— Вот сойдут мои синяки, тогда увидишь, каков я есть на самом деле, и пожалеешь.

— Не пожалею.

— Как знать? Большое видится на расстоянии.

— Вот и катись отсюда подальше, авось разгляжу.

— Ладно, завтра жду тебя в семь часов у кинотеатра «Зорька». Будешь?

— Нет, работы много. Завтра к старухе одной поеду...

— Так я тебя подброшу. А знаешь новый анекдот?

— Не рассказывай, знаю, знаю...

«Она думает, что я дурак самого ходкого стандарта,— отметил про себя Федор и сам у себя спросил: — А что тебе от нее надо?»

Вот именно — что? А ведь что-то в ней есть... Ладно, черт с ней, в каждом что-то есть, да всех не съесть.

— Адье! — сказал Федор и вышел.

В ста шагах от медпункта на развилке дорог стояла шоферская столовка. Там всегда былолюдно и весело.

— Что он к тебе пристал, дай ему шницелем по морде,— посоветовал какой-то балагур буфетчице, когда Федор открыл дверь.

— Я тебе так дам, что уши отлетят,— огрызнулся чумазый ас оршанской трассы.

Балагуру, видно, понравился ответ и, не обращая внимания на направленность фразы, он, смакуя, повторил ее:

— Так дам, что уши отлетят! Ха-ха! Отлично.

Федор взял две порции потрохов и стакан какао.

Столовая жила своими заботами.

— По Славгородской дороге ездить не советую. Лучше в объезд...

— А грейдеры ходят?

— Что грейдеры, ну прошли они, а вчера дождь, и все раскисло.

- Зато грибов много.
- Хрен с ними.
- Одними рессорами эту дорогу можно было умотить.
- Раньше она лучше была.
- Так раньше завода не было. Строить надо культурно, сначала дорогу, а потом завод.
- Россия большая, все дороги сразу не заасфальтируешь.
- Так ведь себе дороже.
- А в Молдавии ведро яблок двадцать копеек...
- Хрен с ними. Сколько техники угробили!
- На наш век железа хватит!
- Дурак ты, Витя.

Мотоцикл Федора стоял под березой. Вдоль шоссе лепились друг к другу «Колхиды» и «ЗИЛы». Тут же стояла чья-то зеленая «Волга», на пыльной дверце озорная рука оставила надпись: «Владелец — буржуй!» Федор засмеялся, завел мотор. «ИЖ» с места взял крутой подъем, и скорость опять подарила Федору ощущение собственного тела, большого и сильного.

А через час Федор и Журов уже пожирали пыльное пространство от Быхова до Славгорода.

- Как прошла перевязка? — весело спросил Журов.
- Серьезная...
- А ты как думал, они все замуж хотят. Осторожней!

Встречный «МАЗ» обдал их пылью и горячим запахом мотора.

Три часа он сидел в засаде и все три часа мучился от жажды. Он думал вот о чем: в городе время воспринимаешь умом, а здесь всей своей шкурой. В городе гроза гремит, а ты сидишь дома и читаешь книгу. Сухо, тепло. Вдруг спохватываешься: «Который час?»

А в лесу, если жара, то все три часа ты страдаешь

от жары. А если дождь, то каждая секунда падает тебе за шиворот холодной каплей — брр! Город обостряет мысли и волю, а природа — чувства...

Над смолокурней висела тяжелая лиловая туча.

«Надо сматываться отсюда», — решил Федор. Он зло глянул в сторону смолокурни. У смолокурщиков всегда в запасе есть тол для корчевки пней. Иванчик рассказал Федору, что каждый день по Сожу плывет глушенная рыба.

— Ну их к черту!

Федор переплыл реку на Иванчиковой лодке. На песчаном обрыве в корнях ивы пульсировал родник. Федор поймал пересохшими губами ледяную струю и засмеялся.

— Вот теперь я закурю, — вслух сказал он и вытащил из кармана пустую коробку «Примы».

— Пусто, — сказал он упавшим голосом и удивился, что эта мелочь так огорчила его. А может, не это его огорчило? Сколько бы маленьких радостей ни было, ими одну большую не заменишь. Федор отогнал эту мысль, а то прицепится и замучает.

— Пусто, пусто, — повторил Федор и смял коробку. И вспомнил, что три дня назад закуривал возле сосны чуть пониже деревни... Одна сигарета сломалась, и Федор выбросил ее.

«А ведь три дня здесь дождей не было», — радостно вспомнил он и побежал по берегу. На бегу он оглянулся и увидел фиолетовую тучу, она висела уже над деревней. Федор побежал быстрее.

«Вот черт, ждал эту грозу, а теперь...»

«Метров сто осталось», — прикинул он и услышал за спиной нарастающий гул. Он задыхался, как будто бежал на крик «Помогите!», а дождь уже бежал за ним. Ну, погоня!

— Успею — будет Люба моя, — крикнул Федор, спрыгнул с обрыва, увидел в траве сломанную сигарету

и упал на нее плашмя, а гроза с хохотом промчалась по его спине, и дождь пригвоздил его к земле! Но через несколько секунд Федор уже привык к холоду и почувствовал, как хорошо сейчас и ему, и земле, и траве, и деревьям, и птицам. Это была их общая радость, потому что они вместе выстрадали желанную прохладу, а общая радость всегда сильнее личной, потому что никто не в обиде и совесть спокойна. Федор был беззащитен под этой ревущей и ликующей водой и не стыдился своей беззащитности. И вдруг он понял, почему он притворялся и лгал, когда говорил с Журовым о Любе. Федору вдруг пришла в голову странная мысль, что человек он беззащитный и легко ранимый. Он всегда считал, что он сильный, и умел быть сильным: если не раскрываться, то сильным быть легко...

Федор ловко закурил, встал и, прикрывая сигарету, пошел в деревню. Он шел, качаясь от усталости, и пел свою любимую песню. При Журове он никогда не пел, даже при Иванчике не пел, при людях он обязательно перевирали мелодию, а когда он был один, и вокруг него ревел дождь, и никто не слышал, он пел правильно, даже голос у него появлялся, но никто не поверил бы ему, потому что доказать этого он не мог.

В воскресенье Федор по привычке проснулся затемно. В городе было шумно, как днем. Грибники с корзинами спешили на автовокзал. Казалось, весь город бежит в леса. Гул шагов в темноте, огоньки папирос, торопливые приветствия — все это было еще непривычно, потому что осень только начиналась. Ее счастливая тревога передалась Федору, он закурил и, всасывая в кровь преступную горечь сигаретки натошак, вместе с дымом отогнал соблазн махнуть за грибами. Загасил недокуренную сигарету, принял душ, надел белую накрахмаленную рубаху. Потом открыл банку с болгар-

ской фасолью в томате, накрошил зеленого лука и перемешал его с фасолью. В холодильнике у него стоял бидончик с бочковым пивом. Федор сполоснул тонкий стакан и налил в него пива. Стекло потускнело от ледяной измороси. Комнату озарило солнце, и Федор сделал глоток. Светлый холод, золотая горечь сентября! Даже в пиве он почувствовал их.

Федор быстро поел и прибрал на кухне. Оглянувшись — что бы еще сделать? Вошел в комнату, включил проигрыватель, поставил старенькую, заигранную пластинку. Современные джазы Федор не любил. Разве это музыка? То ли дело послевоенные романсы, танго... Однажды он зашел к Журову и обнаружил у него целую гору этого «хлама». Все забрал. Журов ехидно поблагодарил его.

Бархатный голос забытого певца запел о разбитых городах, о неверных подругах и журавлях, покидающих промерзшие поля. Все смешалось в этой песне — и высокое, и сентиментальное, и пошловатое. Федор выключил проигрыватель и снял с полки исповедь Девида Генри Торо.

«Уолдэн, или Жизнь в лесу» была любимой книгой Федора. Он купил ее случайно в Быхове, будучи еще студентом четвертого курса геофака... Читать не хотелось. Федор снял со стены свою четырехзарядку МЦ-20-20. Ствол был чистым. Федор повесил ружье.

— Все в порядке, — пробормотал он, закурил и вместе с дымом отогнал еще одну мысль. Ту самую — сколько бы маленьких радостей ни было, одну большую ими не заменишь.

Федор подошел к телефону. «Позвонить Журову, что ли? А может, Валентине?..»

— Алло, — сказала Валентина, и он подумал, что таким голосом говорят люди, которые ежеминутно ждут какую-нибудь радость. Все равно какую.

— Это я, — сказал Федор.

- Здравствуй, почему не звонишь?
- Мы в лесу всю неделю пропадали,— соврал он.
- Браконьерчиков ловили?
- И это было.
- Ну и как, попадаются?
- Валентина...
- Да?
- Приезжай ко мне, или давай где-нибудь увидимся.
- Сейчас не могу.
- Почему?
- Во-первых, сегодня отец уезжает, во-вторых, придет портниха и, в-третьих, у меня послезавтра лабораторные.
- Приезжай сейчас.
- Ты заболел?
- Нет.
- Я же тебе все объяснила.
- Все объяснила?
- Ты пьян?
- Нет.
- Федя, ты — эгоист. Ты ни с чем не хочешь считаться. Ведь я человек, и у меня есть свои обязанности. Завтра я приеду.
- Да, с вами кашу не сварить.
- С кем это, с нами?
- Когда-нибудь объясню.
- Объясни сейчас же!
- Иногда мне кажется, что я звоню тебе из России в Америку.
- Ничего не понимаю.
- Когда-нибудь поймешь.
- Если ты хочешь, чтобы мы виделись чаще, бросай эту работу.

Федор сбежал по лестнице. Вернулся за ключами от сарая. Зазвонил телефон. Федор на носках, как на охо-

те, прошел мимо. Засмеялся. Вот болван. Она ведь не слышит. Надел куртку.

«ИЖ» завелся с первого раза — хорошая примета. Федор выехал на центральную улицу. Дурачиться так дурачиться! Притормозил возле театра. Купил два билета.

Вереница машин ползла в сторону нового завода. На повороте черная стрела жирно подчеркнула надпись «Лавсанстрой». Струи дыма рассекали горизонт. Перед входом в парк старуха продавала цветы.

Дурачиться так дурачиться!

Федор купил цветов. Лихо подкатил к медпункту. Вошел с идиотской улыбочкой. Сказал:

— Мадам, карета подана!

Люба была в белом халатике. Она улыбнулась, и Федору захотелось поцеловать ее. Никакой любви у него к ней не было.

— Голова не болит? — спросила Люба.

Ее волосы мягко отливали речным блеском.

— Ты сегодня голову мыла, — вдруг сказал Федор.

— Да, мыла! — Люба засмеялась.

Федор положил на стол два билета и цветы. Grimасничая, сказал:

— Это в порядке благодарности за перевязку!

— Если уж ты такой хороший, довези меня до Казимировки.

— К старушке той?

— Нет, малыш один ключицу сломал, врач попросил меня съездить.

— А в театр?

— Когда-нибудь в другой раз. Честное слово, не могу.

— Все вы такие: не могу... Портниха придет, да?

— А разве портниха должна ждать?

— Ладно, я в этот дурацкий театр идти не собирался. Поехали.

— Запылишься ты, возьми вот этот плащ.

— Ого, мужской! Откуда он у тебя?

— От любовника остался.

— Маловат. Дохлый был любовничек.

— Иди, я сейчас, только переоденусь.

Федор подошел к мотоциклу и спросил у него:

— А на черта нам все это нужно?

Потом они тряслись по проселочной дороге.

— Давно я так быстро не ездила,— сказала Люба.

Подъехали к деревне. Федор вспомнил, что совсем рядом другая деревня. Там он учительствовал...

— Ты долго здесь будешь?

— Часа два.

— Ну, я заеду.

— Заезжай, спасибо скажу.

Она стояла перед ним, чуть расставив ноги, крепкая, как подросток, и ветер разбросал ее волосы по небу.

Федор медленно поехал по деревенской улице.

На берегу Лохвы сидел какой-то парень и мучал гармошку. Федор развернулся и поехал к Днепру.

Остановился возле церкви-музея. На крыше росла березка. Возле нее сидели плотники. Среди них был Толя, отец Иванчика.

— Курите? — ехидно спросил Федор.

— Здорово, Федор! — крикнул Толя, не обращая внимания на его вопрос.— Вот не знаю, что с березкой делать. Рубить жалко, а как оставить — не соображу...

На бревнах лежал до пояса голый мужик. Другой пускал ему на спину пчел. Федор подъехал к реке, заглушил мотор, разделся. Вдоль противоположного берега на челноке плыл рыбак с леской в зубах.

«На дорожку ловит, самое время щук гонять,— с тоской подумал Федор.— Все время на реке, а порыбачить некогда».

— Эй,— крикнул Федор,— как дела?

— Одну взял.

— А я здесь раньше миронов ловил.

— Они керосином воняют. Да и нет их почти. Внизу их потравили.

— Знаю,— сказал Федор,— а рыба красивая, не хуже форели.

Федор вошел в воду. От холода тело стало твердым, как камень. Аж дыхание свело. Федор растер мышцы ног и поплыл на ту сторону.

Мелькнул шальной вопрос: «А если бы я утонул, пришла бы она хоронить?»

Федор засмеялся, набрал воздуха и нырнул от своих мыслей в холодную, светло-зеленую глубину. Вода с треском сжала уши, и Федор вдруг стал большой счастливой рыбой, потому что в воде он ни о чем думать не мог и почти ничего не чувствовал. Он долго плыл возле самого дна. Он хотел плыть еще, но ему уже не хватило воздуха, и, задыхаясь, он почувствовал, как задыхаются рыбы, как страдают корни леса в промороженной земле, как мучаются птицы, когда выпадает снег... Он мог понять их, а они его не могли, но все равно они любили его, хотя они даже не знали, что любят.

Федор вынырнул, коснулся ногами дна и вышел на берег. Перед ним лежал исхоженный коровами выгон, кое-где пробивалась редкая пожелтевшая трава.

Чтобы согреться, Федор побежал к старой узкоколейке и увидел высокую старуху в ватнике. Она пасла козу и разговаривала с ней. Заметив Федора, старуха спросила:

— Ты откуда?

— С той стороны.

— А чего ты голый?

— Купался.

— В такой холод...

— Мне, бабушка, не холодно.

— А утонуть не боишься?

— Нет, не боюсь.

— А мой утонул — вон там, возле фабрики. Четыре года, как утонул. В прошлом месяце шестнадцать лет ему исполнилось.

«Как о живом сказала», — подумал Федор, и вдруг слова эти напугали его сильнее, чем двести метров холодной, быстро летящей воды. Тайна была в словах старухи. Сказала, как сказалось, сама не понимая того, что вложила в ее уста Природа.

Федор попрощался со старухой, быстро переплыл реку, оделся и поехал в Казимировку.

«— Не боишься утонуть?.. А мой утонул — вон там, возле фабрики. Четыре года, как утонул. В прошлом месяце шестнадцать лет ему исполнилось...»

Когда Федор вошел во двор, Люба чуть не окатила его грязной водой. Виновато засмеялась, выкрутила тряпку, поправила волосы, одернула платье. Поймала недоумевающий взгляд Федора и сказала:

— Старик меня медом все время угощает, а я ему полы помыла. Старуха его умерла год назад. В хате грязно.

Федор сразу догадался, почему она так подробно все ему объясняет, словно даже извиняется. Другая бы ничего не сказала: вот, мол, какая я хорошая. А эта стыдится и оправдывается, показухи боится.

— Скоро поедет? — спросил Федор.

— Сейчас, Витя, — сказала Люба и прикусила губу.

Ничего он не чувствовал, совсем ничего.

Люба выбежала с сумкой, хотела что-то сказать, но мотор сразу завелся и заглушил ее голос. Молча доехали до медпункта. Люба вылезла из коляски, Федор кивнул ей и выжал сцепление...

Солнце падало в подсочный бор, и над озером уже летел туман. Мощный бульдозер рушил кусты орешника и старые дубы. Хаос поломанных веток надвигался

на Федора. За бульдозером шел трактор с громадным плугом. Черная торфяная жижа текла по лемеху.

Федор еле стоял на ногах. Грязный, измученный, Журов сидел под дубом и курил. Рядом с ним сидел широколицый смуглый егерь и резал сало.

— Тузик, Тузик, сюда! — крикнул егерь.

Федор оглянулся. По лугу, оставляя золотой след, бежала собака.

Журов бросил ей большой кусок колбасы. Пальцы Журова были черными от торфа, на лице запеклась грязь.

— Разве это работа? — хрипел Журов. — На два района один егерь. Если бы не Тузик, пропали бы все бобры. На еще, Тузик. Ты свой хлеб даром не ешь.

— Может, пойдем руки помоем? — спросил Федор.

— Сил нету. Земля — не грязь!

Журов с бульканьем высосал бутылку пива и захрустел луком. Вокруг Черного озера начались мелиоративные работы, и четыре дня они переселяли бобров в соседнюю речку. Спали по три часа, не раздеваясь, тут же — в стогах.

Журов отшвырнул бутылку и загнул кровоточащий палец.

— Инспекция по охране природы — раз! Белрыбвод — два! Лесная инспекция — три! Общество охотников и рыболовов — четыре! Городское общество по охране природы — пять! А бобров переселять некому, — на два района один егерь. Давно пора все эти конторы объединить. Но сейчас пять начальников, а если их объединить, будет один. Понял? А кому это надо? Бондареву? Или Рыжикову? У Министерства лесного хозяйства одиннадцать тысяч лесников. Считай, на область три тысячи. На район — триста. А у нас егерей ноль целых пять десятых.

Бульдозер развернулся и пошел вдоль Полны. Когда-то Федор ловил в этой речушке огромных сизых

окуней. Простой удочкой на червя за утро по корзине налавливал.

— Еще одну нору надо прощупать,— сказал егерь.

— Какую еще нору, Иван Семенович?

— Вон там она, где бульдозер. Через час поздно будет.

Журов поднялся. Они взяли железную сетку, и егерь позвал собаку. Пошли напрямик, по колено проваливаясь в болото. Все трое были в резиновых сапогах и ватниках. Собака сразу нашла нору и залаяла.

Федор и Журов загородили выход сеткой. В двух шагах оказался еще один выход — и бобер выскочил из него, но Тузик преградил ему дорогу к воде. Бобер поднял лапы и заплакал. Егерь бросил на него сверху свой плащ, кое-как затолкали плаксу в сетку и понесли.

Шли, шли и вдруг засмеялись все сразу.

— Вот дурачок,— нежно сказал Журов.

На лице егеря блуждал вечерний свет. Он грустно улыбался.

«С чего это я обиделся на нее,— думал Федор,— ну, был какой-то Витя. Ну и что?»

Под сапогами пузырилась торфяная жижа. Потом начался песок. Наконец вышли на луг. Спустились к речке. Егерь взял Тузика за ошейник. Открыли сетку. Бобер выскочил, закружился на месте, удивленно взвизгнул и нырнул.

— Все, поехали домой,— сказал Журов.

Попрощались с егерем. Кое-как дотряслись до окраины.

Федор еле держал руль, башка моталась от изнеможения.

— Притормози,— попросил Журов, когда они подъехали к мясокомбинату,— отсюда я автобусом доберусь.

Журов жил в микрорайоне; чтобы попасть туда, Федору нужно было сделать большой круг.

— Поеду заправляюсь, здесь рядом,— равнодушно сказал Федор.

— До завтра.

Журов заковылял к автобусу.

Федор закурил, чтобы взбодриться. Возле заправочной станции его охватило непонятное волнение. Машин почти не было, заправился быстро. Включил ближний свет. Возле небольшого домика пришлось притормозить: образовалась пробка. Из окон плеснула музыка, заколыхалась занавеска. Там было светло и кто-то смеялся.

«Наверно, чай пьют»,— подумал Федор.

Даже запах духов услышал, нюх у него был звериный. И слух тоже. Не музыкальный, но зато Федор первым слышал ночью плеск весел. Не раз такое было.

Город брызнул огнями, опьянил запахами. Дом был рядом, в минуте езды. Там ждала Федора чистая постель, крепкий чай, на полке стояли любимые книги. Привычные вещи становятся счастьем, когда их теряешь, а потом опять обретаешь. Федор знал это. На последнем дыхании он закатил в сарай мотоцикл, вошел в дом, умылся, поставил на плиту чайник. И тут с ним произошло чудо. В руках оказался карандаш. Федор обычно набивал им патроны. Никогда в жизни Федор не рисовал. В школе заставляли рисовать, ну и он мазал кое-что. И вдруг Федор нарисовал Журова! Не подобие, а вылитого Журова. Да, это было его лицо, усталое, честное, живое.

— Ну и ну,— сказал Федор сам себе,— что же это со мной творится? Нервы! Они, тады! Все, надо спать, спать, спать!..

Какая-то дивная сила внезапно проснулась в нем, а Федор ничего не мог понять.

Прошла неделя. Липы почти осыпались. Позже всех расцветают, раньше всех осыпаются... И по тополям уже текла желтизна, по всем без разбору, по старым

и молодым. А ночи всю неделю стояли теплые, и грибы росли, как никогда. Даже на мотоцикле можно было собирать боровики. Столько их прокинулось вдоль проселочных дорог! Все леса аукались, все банки в магазинах пропали. Да и крышек не найти. Ну, дела, ну, потеха. Куда ни пойдешь, разговоры о грибах. Двести беленьких, триста беленьких. А тут еще рыжики и грузди сыпанули! Город просыпался в пять утра и штурмом брал автобусы. На остановке какая-то старуха закаркала, что дело к войне, но тотчас молодой голос запел: «На страже мира всегда стоим», — и толпа захохотала. Вечером все возвращались с полными корзинами, и было в этом что-то очень важное. Федор долго не мог понять — что именно... И наконец понял — редко он видел столько счастливых людей!

Но всегда кто-то должен быть несчастным. Трижды Федор подъезжал к медпункту. Два раза случайно, мимоходом, а один раз просто так, от нечего делать. Заправился и подъехал. Ничего не спросил, почувствовал, что должен сейчас же уехать. Мотор с ходу завелся, и Федор не видел, как она заплакала, но он точно знал, что она разревелась. Спиной видел! И когда опять приехал, у нее было испуганное лицо.

— Кто тебя обидел? — спросил Федор.

— Никто.

— Ну как знаешь.

— Федор...

— Да.

— Ты куда едешь?

— На водохранилище.

— А вечером где будешь?

— Что-нибудь случилось?

— Поговорить надо.

— А где ты живешь?

— В этом же доме, только с другой стороны вход.

— После семи приеду, — сказал Федор.

На водохранилище они взяли пробу воды. Сульфата натрия было 2,5 миллиграмма на литр. На полтора миллиграмма больше нормы. Наверное, дожди размыли грунт и производственные воды просочились в реку, а может, дамбу прорвало. Составили акт, пригласили свидетелей... Быстро управились.

Возвращаясь в город, попали на праздник урожая. Вся долина пела и плясала. С открытых кузовов торговали буфеты. Федора сразу же узнали и окликнули. Да и Журов здесь был свой. Их стащили с мотоцикла. Откуда-то появился плотник Толя, и в руке у Федора оказался стакан портвейна. Журов уже закусывал колбасой.

— Останемся? — спросил он.

— Мне сегодня надо пораньше.

— На перевязку?

— По делу.

— Ну что ж, любовь — святое дело, — заржал Журов и опрокинул в горло стакан Федора. Все-таки он был умным другом. На черта Федору иметь дело с ГАИ? — А я — верный муж своей жены, — сказал Журов, подмигивая, но Федор знал, что это и в самом деле так. Журов любил свою жену.

— А ну их... Они... — Толя, как всегда, не досказал мысль. Вино кончилось. Все пошли к буфету.

Через час Федор притормозил возле медпункта.

Она была в серой клетчатой юбке и черной нейлоновой водолазке. И губы подкрасила. Волосы разбросанные на черном, стали и в самом деле серебристыми.

— Не стыдно тебе будет со мной? Мы ведь пойдем в кафе? Ты меня приглашал... тогда. Или уже раздумал?

— Что с тобой, Люба?

— Ничего. Повеселиться хочу.

Она села в коляску. Когда она садилась, Федор

увидел ее смуглые крепкие ноги выше колен. Люба сразу почувствовала этот взгляд. Вообще, женщины чувствуют, когда смотрят на их ноги. Но и Федор нашелся — осенил себя крестным знамением. Люба засмеялась.

— А хочешь в ресторан? — спросила Люба. — Деньги у меня есть.

В кулачке у нее был зажат кошелечек, и Федору стало жалко ее.

Люба выпила свой бокал до дна и спросила:

— Я тебе нравлюсь?

— Конечно!

— А ты у мамы живешь?

— Нет, я один. Что с тобой случилось, Люба?

— Ничего не случилось.

Под окном росла маленькая липа. Федор механически насчитал одиннадцать листьев. Один лист оторвался и затрепетал в воздухе. Еще один упал...

— А почему ты такая грустная?

— Мама ко мне приезжает из Архангельска.

— Так радоваться надо.

— Одна я у мамы, понимаешь, совсем одна. Отца на войне убили. Сестренка была. Умерла. Еще дядя был. Погиб в автомобильной катастрофе. А год назад вышла я замуж и матери написала. Служил здесь один парень. В общем, бросил он меня.

— А почему он тебя бросил?

— Это я его бросила, но ты ведь все равно не согласишься. Пусть уж лучше будет по-вашему. А мама думает, что у меня все хорошо. Старенькая она и очень слабая, не выдержит.

— Ты не обижайся, Люба, ничего я не понимаю.

Люба достала из сумки фотоснимок и положила его на стол. На Федора задорно глянул почти вылитый Колхуто, только в солдатской форме.

— Похож?

Федор закурил, перевернул снимок. «Любе на добрую память. Витя».

Люба засмеялась, тряхнула головой, спрятала снимок.

— Мама послезавтра приезжает. Так что, если хочешь со мной... будешь моим мужем, пока она не уедет.

— Ты это всерьез?

— А то как же... Только ты будь ко мне внимательным, ладно? И нежным... Это ведь ненадолго. Дня на четыре.

— А где он сейчас?

— В Черикове в Доме культуры работает. Поет, играет, балагурит. Массовик.

«Ну, дела,— подумал Федор,— такого со мной еще не было».

— А соседки твои не проболтаются?

— Они его не знают.

— Ну, тогда все в порядке. А я тебе нравлюсь?

Федор нашел его в Доме культуры.

Зачем он к нему поехал? О чем говорить?

Федор назвался инспектором. Все правильно. Только не сказал, какой инспектор. Да тот и не спрашивал. Сразу потащил в ресторан. Федор отказался. Массовик понимающе подмигнул. Вытащил какие-то дипломы и грамоты. Выбежал в коридор. Кому-то что-то шепнул. Вернулся спокойный. Незаметно перешел на «ты». Похож ли он был на Федора? Нет, не очень. Правда, рыжеватый. И нос такой же. Вот и все, пожалуй.

Подсунул Федору областную газету с очерком о ДК.

— Ну, а справка у тебя есть? — спросил Федор.

— Какая справка?

— Справка о том, что ты человек.

Тот хотел оскорбиться, но, видно, вспомнил, что Федор — инспектор, и захохотал. Пригласил к себе домой.

— Живу скромно,— гордо сказал он.

— Ничего, еще разживешься,— ответил Федор.

Говорить было не о чем. А все-таки съездил не зря. Иногда надо встречаться с такими, чтобы лучше себя самого узнать. Бывает же — вдруг узнаешь, что ты лучше, чем ты кажешься себе и другим.

Федор отъехал от города и остановился в сухой смешанной рощице. Две девочки несли ведро с маслятами. Потом по краю поля прошла старуха с корзиной. Роща стояла на холме, и земля была теплой. Сквозь дырявые кроны в глаза смотрела пустая синева. Жил ты на земле или не жил — ей было все равно. «И равнодушная природа», — вспомнил Федор, засыпая... Во сне он увидел Валю. Они шли по городу. Возле ЦУМа бурлила очередь. Валя остановилась.

— Что у тебя с рукой? — вдруг спросила она.

Федор сказал, что поранил руку, когда они пересекали бобров, а йода не было, и рана загноилась. Он снял повязку и увидел, что пальцы опухли и почернели.

— Это заражение, пойдем скорее к врачу,— сказал он.

— Сейчас, только я на минуточку зайду в универмаг,— ответила Валя. И Федор побежал один. Город кончился, он выбежал в поле и увидел над собой двухкрылый самолет, весь затянутый черным крепом. Самолет медленно кружил над ним, а Федор сидел на траве и плакал, потому что он знал — умерла его любовь. Самолет улетел, и Федор вошел в лес. В руке у него была грибная корзина. Федор оглянулся и увидел Любу. Под елками во мху стояли боровики, опутанные паутиной. Когда Федор приподнял еловую лапу, паутина засверкала невидимыми капельками росы. Он позвал Любу, и они, вскрикивая от радости, стали срывать грибы, но когда Федор посмотрел в свою корзину, там были лиловые и бледно-желтые поганки. И у Любы в корзине было несколько разноцветных поганок.

— Выбрасывай их,— закричал Федор,— мы не здесь ищем.— Несколько раз он воткнул в землю нож, чтобы очистить его, и увидел в ложбине настоящие белые грибы. Но когда они срезали их и положили в корзины, там опять оказались поганки.

Федор выбросил их и сказал:

— Это грибы-притворы.

Люба оглянулась — поганки превратились в подосиновики и сыроежки.

— Пойдем со мной,— сказал Федор,— я знаю один лес, настоящий грибной.

Они обошли болото и вошли в лес, изрытый окопами и траншеями. Кое-где еще валялись ржавые пробитые каски. Набредли на обвалившуюся землянку. Лес был редким, но грибов росло много. Это был настоящий лес, и боровики были настоящими. Люба очень обрадовалась, но... Федор проснулся...

Долго лежал с полузакрытыми глазами. Земля под ним остыла, и спины он не чувствовал, словно она стала продолжением земли. Казалось, вот-вот ему откроется что-то необычное, почти недоступное разуму, но невидимые сторожа этой тайны не давали сосредоточиться. По руке полз муравей, кололась хвоя, возле щеки затрепетала бабочка. Так было всегда. Всегда что-то мешало ему, какая-то ничтожная малость не давала хотя бы на мгновение забыть всего себя и проникнуть в жгучую тайну природы. Шурша листьями, Федор отделился от земли и пошел к мотоциклу. Увиденное во сне еще стояло перед глазами, да так ярко и четко, что Федор зажмурился.

Федор поехал в город, чтобы отвезти свои вещи к Любе.

— Витенька, милый, именно таким я тебя и представляла.

Это были ее первые слова.

Четырнадцатый вагон до платформы не дошел, а ступеньки высокие, так что Клавдия Ивановна приземлилась в объятиях Федора. Вот как естественно все получилось: и обнялись, и поцеловались, словно родные. Хорошо все получилось.

На такси подъехали к медпункту. Угостили Клавдию Ивановну ухой и жареными опятами. На все вопросы ответили. Здоровье? Слава богу! Живем? Дружно! Деньги? Хватает! Старушка мужа вспомнила, всплакнула. Потом еще раз всплакнула. Показала Федору фотографию Любиной сестры. О брате своем рассказала. И о мужнином брате. На здоровье пожаловалась. Волосы у нее были как побитый морозом лен. И лицо хорошее, усталое, не хитрое. И никакой суеты она в дом не принесла, как будто она не гостья, а хозяйка.

Клавдия Ивановна называла его то Витенькой, то Виктором, то Витей. «Да!» — торопливо откликался Федор, и его глаза встречались с удивленными глазами старухи. Она еще ласковей звала его: «Ви-тя...» А он все равно вздрагивал и ничего не мог с собой поделать.

После обеда она сказала им так: «Дня через четыре уеду. Отпуск у меня кончается, долго к вам собиралась. А через полгода уйду на пенсию. Вот тогда приеду, если позовете. А не позовете — не обижусь».

Потом Федор умчался в свою контору и провозился вместе с Журовым до вечера, составляя акты на браконьеров. Штрафы, судебные уведомления, показания свидетелей рябили перед глазами.

— Лысому два года дали, — сообщил Журов. Взглянул на часы: — Встать! Суд идет! Браконьер Федор Колхуто, вы свободны!.. Может, махнем ко мне? Домашнего пожрешь. Это не я — жена приглашает.

Федор отказался.

Когда он приехал к Любе, Клавдия Ивановна уже

спала за ширмой. Люба читала на кухне какую-то книгу. Раскладной диван был застелен, в изголовье — две подушки... Федор вышел из комнаты. Люба подняла голову, глаза ее были пустые.

— У тебя есть раскладушка?

— Зачем она тебе?

— Не могу я так.

— А я думала, что можешь.

Из открытого окна в комнату залетел печальный запах вянущей крапивы. Ветер хлопнул рамой, внезапно зашумел дождь. Федор выглянул в окно — ни одной звезды. Обложной дождик, до утра.

— А что мама подумает?

— Ну, скажешь ей, что я из лесу, грязный, вот и лег отдельно.

Люба принесла раскладушку.

Федор разделся в темноте, лег и подумал: «Ну и влип!»

На трассе гудели машины. Однообразно шумела дождевая вода. Федор любил засыпать под шум дождя и чтобы окно было открытым, чтобы землею пахло, как в детстве... В каком же это было году? Во дворе вокруг баяниста собиралась молодежь. «Татьяна, помнишь дни золотые», — пел баян, а Федор и его маленькие друзья сидели поодаль. Он, Федор, — дитя развалин и пустырей. А Валентина — дитя микрорайона и достатка. Конечно, каждому дорога своя юность. Однажды Федор уезжал из дому, денег у него было мало, только на билет. Отец сунул пятерку и сказал: «Возьми на извозчика». Мать засмеялась, и отец махнул рукой: оговорился, мол. Сколько бы человек ни ездил на такси, если в юности он имел дело с извозчиком, они ему дороже. Так же, как теперь поезда. Все летают в самолетах, но поезд любят больше.

«Татьяна, помнишь дни золотые...» Взрослые танцевали на волейбольной площадке, а маленьких матери

уводили за руку домой. Они, конечно, упирались и жалобно выпрашивали еще полчаса, но матери были неумолимы. Вот так и она, природа, отпустит порезвиться, а потом возьмет за руку и уведет по дороге вечности...

А однажды Федор украл из лодки огромного леща. Рыбак отлучился куда-то, лодка с незакрытым порожком стояла на отмели. А в порожке бухала рыба! Федор прыгнул в лодку, и огромный лещ оказался у него в руках. А потом за пазухой. Федор бежал в город, а под рубахой билась холодная задыхающаяся рыба. Дома все восхищались его уловом, до этого он только уклевек ловил. Никто не знал, что лещ краденый, и Федору нечего было бояться, но ведь сам Федор знал, и ему было не то чтобы стыдно, а грустно... Грустно потому, что он украл и он никогда уже не сможет быть таким чистым, как раньше.

И вот сейчас Федор понял, что вместе с ним в Любиной комнате поселилась ложь.

И после того, как он понял это, ему сразу же захотелось заснуть. Заснуть, забыться, все забыть. Но заснуть он не мог. И Люба тоже не спала. Слишком уж тихо было там, где она лежала...

Где только Федор не ночевал. В стогах, под лодками, на сырой весенней земле. Как они мучались вместе с Журовым! Грели остывшую землю кострами, а потом засыпали на ней ненадолго и опять разводили длинные костры, шарили в темноте, тащили хворост, рубили еловые лапы, застилали ими кострища, скорчившись, укрывались от дождя. Длинные были ночи, но первая ночь в Любином доме была еще длиннее.

И снова вспомнились далекие годы — гроза, ржанье лошади, вставшей на дыбы, крик паромщика.

Облезлый волк переплыл Ресту, отряхнулся, и Федор, не думая, выстрелил в него. Когда Федор подошел, зверь лежал неподвижно, только сердце еще би-

лось и в глазах была невыносимая боль. Умирая, волк плакал, и слезы текли по его худой морде.

— Зачем ты убил меня? — спросили его глаза.

Федор заворочался на раскладушке, но светло-желтые глаза смотрели на него из темноты, и Федор ответил волку:

— Ты — хищник, убийца. Вот почему я убил тебя. Ты режешь свиней, телят, овец.

— А разве ты не режешь свиней, телят, овец? — спросил волк. — Почему ты имеешь право убивать их для того, чтобы жить, а я не имею права?

Федор растерялся, он никогда об этом не думал.

— Но я — человек, — возразил Федор, — я создаю жизнь, поэзию, музыку, строю города, открываю тайны земли, когда-нибудь мне вообще не понадобится убивать животных. А ты только убиваешь.

— Нет, — сказал волк, — я убиваю, когда голоден. По необходимости. Но я не режу своих собратьев, если даже голод доводит меня до отчаяния, не рву свою волчиху, наоборот, я отрываю ей последний кусок мяса. И я не разрушаю этот мир. А музыку и поэзию мне создавать нет необходимости, я слышу ее в том виде, в каком ты ее уже не слышишь. Ты добавляешь к ней цвет и запах и думаешь, что сделал открытие, а я все это чувствую уже тысячи лет. И убил ты меня потому, что время от времени испытываешь желание убивать. Какая в этом необходимость? Разве ты знаешь, кто я? Ты считаешь себя выше меня, и поэтому я не могу убить, чтобы поесть, а ты можешь убить, защищая то, что принадлежит тебе так же, как и мне. Разве козы и зайцы принадлежат только тебе? Почему же тогда ты не живешь в лесу?

Пока Федор думал, что ответить, глаза волка остекленели...

Почему этот волк не дает ему покоя? Ведь стрелял

Федор и лосей, и коз, и зайцев. И вообще он любил честную охоту. Любил, потому что знал тайну охоты. Когда он полз по росе и прислушивался к лесу, то весь превращался в глаза и уши и сам становился зверем. Но не это было радостью, а возвращение к человеку! За несколько часов пролетала вся история этой земли, секунды были столетиями, минуты — эпохами. И все это Федор чувствовал своей шкурой, всю боль и радость перерождения!

Федор не заметил, когда перестал дождь. Он даже не знал, удалось ли ему ненадолго заснуть.

В окне синело. Где-то кричал петух...

Блаженны спящие! Но не все и не всегда, ибо совесть будит их. Петухи кричат! Но совесть просыпается раньше петухов. Совесть просыпается раньше всех.

Пробуждение — вот самые искренние секунды в жизни человека. Если ты плохо прожил свой день, в полдень следующего дня ты уже оправдываешься перед самим собой. Но просыпаешься ты с таким чувством, будто тебе за пазуху бросили ледяную жабу.

Совесть — первое звено твоей памяти. Ведь обычный день — миниатюра человеческой жизни, а пробуждение и свежесть утра так схожи со свежестью и чистотой детства. На цветах еще лежит роса, и воздух чист, как песня зяблика. И до полудня так далеко! Жизнь кажется такой огромной, бесконечной. Вот тридцатилетний человек открыл глаза. В его ресницах еще сладко трепещет золотая свиль, и опять ему десять лет!

Но через несколько мгновений он постареет на несколько десятилетий. И тогда он вспомнит свои спасительные слова и улыбочки, вспомнит все, что натворило человечество за множество лет, и оправдает перед самим собой свою маленькую, почти родную ложь.

Помучает она его и отпустит—иди, радуйся, пей парное молоко, лети на мотоцикле, спасай природу, живи!..

...Когда Федор увидел свой мотоцикл, ему стало легче. Вот он — железный в полном смысле этого слова — друг. Стоит только сделать несколько привычных движений, и он унесет от чужого горя, от чужих надежд и неудобной скрипучей раскладушки.

Федор оглянулся — в дверях стояла Люба.

— Позавтракай,— сказала она,— все готово.

Он вернулся в дом. Люба была в летнем платице, заспанная и, как показалось Федору, очень милая, теплая, слабая. В общем, баба! Нет, женщина. Милая сонная женщина. И вдруг Федор с болью подумал, что кто-то уже обнимал ее и целовал в теплые полные губы.

«Пока нас не касается, мы говорим: «Ну и что? Подумаешь, кто-то был, кто-то обнимал. Предрассудки. Главное, чтобы ты любил и она тебя любила». Все мы так говорим, пока это нас не касается. А ~~как~~ это меня касается? Никак!..»

И все-таки Федору было обидно. Они поели разогретых грибов и выпили чаю. Федор сказал Любе, что день у него трудный и вернется он поздно. Сказал, не подымая головы...

Мотоцикл чихнул и замолк. Федор опять рванул заводную ручку, и опять мотор не завелся.

— Плохо день начинается,— вслух сказал Федор. Он не видел, что Люба вышла следом.

— Все будет хорошо,— шепнула она, и Федор вздрогнул. Хотел оглянуться, но успел сдержать себя, сказал, не оборачиваясь: «Свечи забрызгало». Продул свечи. Мотор завелся, и Федор выехал на трассу. Ветер разбился о его голову, и в уши хлынул гул асфальта. Тусклая серебристая колея бежала перед ним и пропадала в небе. Федор любил ездить по этой дороге. Утром

она была почти пустынной. А весной на старых берегах, что росли вдоль асфальта, висели ведра, наполненные прозрачным холодным соком. Кто хотел, тот останавливался и пил его. Если береза растет в низине, сок у нее желтый и безвкусный, а если на сухом холме — светлый и чуть сладковатый. На двадцать восьмом километре Федор свернул направо. Лес кончился. Дорога через луг была затоплена дождями. Мотоцикл швыряло, и мотор ревел, как раненый лось. Федор включил вторую скорость. Грязь забрызгала все небо вокруг Федора и засверкала всеми красками! Федор выехал на луг и помчался к старице. Журов давно просил его побывать на этой старице, потому что она соединялась с Днепром и осенью в нее заходило много рыбы. Браконьеры знали это.

Объезжая старицу, Федор увидел деревенского старика в легкой долбленной лодочке. Старик испуганно оглядывался и греб к протоке, соединяющей старицу с рекой. Федор выскочил из мотоцикла, но мотор не заглушил. Пусть браконьер думает, что хозяин возле своей машины. Побежал вдоль лозняка, плотно закрывающего берег. Бежал он, конечно, быстрее, чем старик плыл. Протока была узкой и неглубокой, Федор спрятался за деревом. Показался нос лодки. В ней была сетка. Десятка три красноперок еще трепыхалось на дне лодки. Когда старик поравнялся с деревом, Федор тихо сказал:

— Не спеши, батя. Давай перекурим.

Старик вскрикнул и беспомощно положил весло. Руки его дрожали. Федор глянул на сетку — метров двадцать, не больше.

Старик пришел в себя, спросил:

— Что это ты сегодня так раненько? Только я сеточку намочил, а ты уже здесь. Ну что ж, составляй бумагу, штрафуй. — Развел руками, пнул ногой сетку. — Только разве я браконьер? Тряпка это, а не сетка. Вну-

чек вчера из армии вернулся. Дай, думаю, порыбачу. Может, отпустишь, а?

— Обожди меня здесь, мотор зря работает,— сказал Федор. Побежал к мотоциклу. Подумал: неужели уйдет? Оглянулся. Над лесом из трубы крахмального завода летел черный дым. Федор подъехал к протоке. Старик ждал его.

Дым летел, словно огромная стая ворон. Федор достал сигареты.

— Закуривай, батя, и больше на глаза мне не попадайся, понял?

— Спасибо, сынок.

— Не за что.

— Может, ко мне заедем? Медом угощу. Только ты не думай, что я откупаюсь. Это я тебе как человеку от человека.

Старик высморкался.

Федор подумал: «А почему бы не заехать? Все равно подежурить здесь надо. Мотоцикл у старика оставлю, а сам вернусь...»

В хате сидел детина-внучек и старухи, наверно соседки.

Федор познакомился с виновником торжества — Николаем.

— Человека привел,— сказал дед. Засуетился, шепнул что-то старухе, на столе появился мед, в сенцах забулькало...

От самодельной Федор отказался, а меда съел целую тарелку и молоком запил.

Старик указал на внучка:

— В милицию зовут его работать. А общество ваше тоже вроде бы при них?

Федор засмеялся, рассказал.

— А знаешь, сколько егерей у вас в районе? — спросил он у Николая. И ответил: — Одна вторая человека, то есть на два района один. Это все равно, что один

милиционер в городе с миллионным населением. А ведь зверюшки, они как люди, их тоже оберегать надо. Вот... Для этого молодые и здоровые нужны. Но с душой.

Дед кивал головой, поддакивал, Николай недоверчиво улыбался. А старухи тараторили о каком-то местном бобыле. На той не женился, и эта ему не понравилась, а теперь жалеет, старый хрыч. Выбирал, как будто тыщи лет собирался жить. Старухи поглядывали в сторону Николая, а Федор думал о Любе. Долго выбираешь — плохо, не выбираешь — тоже плохо.

Федор попрощался, хозяйка хотела ему меду дать, но он не взял. Уже на пароме вспомнил о Любе и пожалел — она ведь любит мед. Вот удивил бы ее.

В это время вдалеке что-то бухнуло, и Федор побежал к старице. Николай — вслед за ним. Сначала Федор не видел его, а потом услышал за спиной хриплое дыхание и оглянулся. Лицо у Николая былое злое. Неужто все-таки задели его давешние слова? Разбираться было некогда: Федор был уверен, что кто-то бросил заряд в зимовальную яму. Рыба уже сбилась в стаи и ушла на глубину. Вот в такое место и бросили.

Один подросток стоял на берегу, а двое вертелись в лодке и орудовали подсачками. Скрутили их в одну минуту. В сумке нашли две бутылки. Из горлышек торчали коротенькие бикфордовы шнуры.

Николай оказался ловким парнем, в армии занимался плаванием, а потом боксом.

Все это он рассказал Федору по дороге в сельсовет. Там опознали нарушителей. Были они серенькие и мокрые, все на одно лицо. Николай сказал о них точно: — Бобики.

Федор решил поговорить о Николае с Журовым. У них была должность инспектора по дыму. Взять парня на эту должность, а работу дать настоящую.

Настроение у Федора испортилось, как только он

вспомнил, что надо ехать туда. Но раньше или позже ехать все равно пришлось бы. Даже скорость не помогла и ветер не сбил тревогу. На дороге возник мальчик с поднятой рукой. Возле него стояло ведро — конечно, с грибами. Федор вспомнил Иванчика. Давно он у него не был. И Толя будет рад.

Скоро поворот на Добрянку... Вдруг почувствовал, что не хочет ехать к Толе, Иванчику. Совсем недавно было легко, радостно. Влип в историю... Куда бы ни поехал, кажется — не туда, не то... Раздвоился. Потерял себя. Сам себя обманул. Люба? Нет, здесь еще что-то... Что-то большее. Когда это появилось впервые? Ливневка... При чем здесь она? Оштрафовали директора крахмального завода. Так... Потом поехали на водохранилище. Поймали подростков, они глушили рыбу извостью. Один так испугался, что заплакал. И тогда впервые что-то сильно встревожило Федора. И он отогнал какую-то неясную мысль о возвращении в школу. Увеличил скорость, развеял тревогу...

Остановился. Что-то водило его, как рыбу на леске. А солнце было еще высоко.

Через час Федор вошел в Толину хату. Иванчик весь подался к нему. Еще бы, чему только Федор его не научил. И щук ловить, и птицу стрелять, и даже мотоциклом управлять.

Толика дома не было. Иванчик побежал искать его, а хозяйка накрыла стол скатертью.

— Как он тебя ждал, — сказала она про Иванчика. — Мотоцикл затрещит, он сразу к окну. А мотоциклов теперь много, почти в каждом дворе. Ну, а я по-бабьи так думаю — раз не показывается, значит, скоро на веселье позовет.

Поздно вечером Федор подъехал к медпункту. Люба была в белом шерстяном платье с черными и красными цветами. И волосы ее пахли рекой.

— Ты чего это такая веселая? — спросил Федор.

— А почему мне не радоваться? Муж домой вернулся...

Днем Люба ездила с матерью в город. Водила ее к врачу, какому — Федор не знал. Когда они вернулись, Клавдия Ивановна сказала ей: «Не реви, мне все равно скоро землю парить, а вам еще жить».

Федор включил радио на всю мощность, пусть думают, что он ничего не слышит.

А Люба перестала называть его при матери Виктором. «Здравствуй, муж», «А где муж?», «Он уже поел»... Казалось, вот-вот она заплачет или закричит, сдерживало ее, наверно, только одно — скоро мать уедет. Иногда, словно спохватываясь, Люба начинала хвалить его при Клавдии Ивановне, водолазку ему купила. Медсестра, семьдесят пять рублей получает, так что наказала она себя на весь аванс. Федор деньги ей сунул, не взяла. Тогда он поехал в город, достал сотню и купил шерстяное белое платье с черными и красными цветами. Журов бы сказал: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!»

Старуха увидела Любу в новом наряде и стала Федора расхваливать. И Люба сначала обрадовалась, а потом погрустнела. И Федор сразу понял почему. Тут и дурак понял бы.

Клавдия Ивановна возилась на кухне. Федор втянул в себя запах тушеного мяса, чеснока и еще чего-то очень вкусного.

— Любовь не настоящая, а запахи настоящие, — шепнула ему Люба, и они засмеялись.

Клавдия Ивановна слышала их согласный смех и улыбнулась. Вскоре после ужина она легла спать, а Федор и Люба сидели во дворе и молчали.

Федор спросил:

— О чем ты ночью думала?

— О тебе. И о себе. Такое часто бывает.

— Что бывает?

— Два хороших человека доказывают друг другу, что они хорошие.

— А почему так получилось?

— Потому что с недоверия все началось.

— А недоверие откуда?

— Одного кто-то обидел, другого кто-то обидел. Вот и недоверие.

— Я не знал, что у меня такая умная жена, ха-ха...

— Если бы я умная была, я бы в счастье с тобой не играла.

— А думаешь, если умный, так и счастливый?

— В конце концов да!

— Дождик начинается. Где раскладушка стоит?

— За дверью.

Старуха не спала, а может, он разбудил ее, когда раздвигал раскладушку.

Старуха спросила, почему он не спит на диване.

Кровь ударила ему в лицо, так всегда бывает, если низко опустишь голову.

Федор шепотом ответил, что они поссорились.

Старуха стала его успокаивать:

— Ничего, Витенька, завтра помиритесь. Когда кто-то в доме, муж и жена обязательно поссорятся.

А еще она сказала, что не нарадуется, глядя на них.

— Так,— сказал Федор,— начинается.

Груженный бревнами лесовоз выполз на дорогу и, разворачиваясь, сбил столбик с фанерным щитом, на котором был нарисован дуб и надпись гласила: «Берегите лес, он богатство нашего края». Щит повис, раскачиваясь на проволоке, и долго еще в лесу было слышно, как жалобно скрипит сухая фанера. «Потом поправлю»,— подумал Федор и поехал на стройку.

— Надо поправить...

Развернулся, подъехал к щиту...

— А зачем?

Фанера все еще скрипела.

— Зачем?

Лаборанты позвонили утром и сказали Журову, что возле города в реке резко повысилось количество аммиачки, щелочей.

Федор вошел к главному инженеру, тот наливал боржоми, мельком глянул на удостоверение Федора, молча налил второй стакан. Грустно закивал головой.

Загорелый, крепкий, глаза умные, светлые...

«Серьезный мужик, и бабы его любят», — почему-то подумал Федор.

Инженер грустно улыбнулся. Что он говорил Федору? Да, общежитие заселили, а канализацию к городской не подключили. Да, все идет в реку. Люди жили в вагончиках. Уже осень. Дети. День-два, и канализацию подключат...

Федор по опыту знал, что день-два — это месяц.

Что он еще говорил? Он все понимает, жалко реку. На юг не ездит... Средняя полоса, рыбалка, сенокос... Но людям пообещали. Виноваты поставщики, затянули. План есть план.

— Если бы люди знали, что загрязняют реку, они бы с новосельем подождали, — сказал Федор.

— Не выселять же их теперь...

— Не выселять.

Федор составил акт.

Оба понимали, что реке это не поможет. В конце концов общежитие подключат к городской водоканализации. А ливневки? Маленькие решетки возле тротуара. Дожди и поливочные машины каждый день смывают в них тонны машинного масла, бензина. И все это течет прямо в реку.

Они сидели друг против друга, молчали. Инженер сказал: «Переброшу бригаду, за неделю общежитие подключим... Слово».

Федор вышел от него и поехал на автобазу. База

стояла на обрыве, в реку текли жирные ручьи мазута, солярки. Начальника уже предупреждали. Федор составил акт. Здесь все было ясно, это не стройка. Небольшой отстойник — на два дня работы. И никому нет дела. Вдруг подумал о Любе. Там, у нее, он только почувствовал, что раздвоился, что не все у него хорошо. Увлёкся браконьерами, отнимал сетки, тол, судил, писал на работу. А что они ловят сетками? Плотву, которая уже пахнет керосином?..

Федору снились его ученики. Они всем классом забредли по долине и закапывали на огородах дохлую рыбу. Потом они растерянно столпились, что-то увидели... Они звали его. Или Федору так показалось. Земля была мокрая, липкая. Федор не мог подъехать к ним на мотоцикле.

Проснувшись, он почувствовал приближающуюся опасность. Но откуда она придет, не знал. Была суббота, третий день их «счастливой» любви. День начался с «перемирия». Клавдия Ивановна строго смотрела на Любу. Молча пили чай. Вдруг она сказала:

— А ну, поцелуйтесь. И ссору из сердца вон!

Подтолкнула их друг к другу. Поцеловались. Это был их первый поцелуй. И он был отравлен ложью. И они поняли — что-то потеряно навсегда.

Федор вышел во двор, и его охватило желание бежать куда глаза глядят. Или делать что-нибудь, копать, колоть, приколачивать, красить... Только не сидеть без дела и не смотреть старухе в глаза. Каждое ее слово мучило его.

«Помирились, и слава богу. Я вот смотрю на вас и радуюсь. Так ладно все складывается. И ты такой хороший. Люба в письмах все писала мне, как ты поешь и как играешь. А где твой баян?»

Он буркнул, что баян у друга. Отдал подремонтировать. Люба поняла его состояние и, когда мать вышла, спросила:

— Поможешь мне картошку привезти?

Он благодарно кивнул.

Побежал в шоферскую столовую, нашел знакомого парня, договорились. Люба забралась к нему в кузов, и они помчались к ее знакомым в Сидоровичи.

Купили пять мешков картошки. День был холодным и ярким, на бурт-поле ветер трепал разноцветные платки. Руки у Любы покраснели от холода, глаза слезились.

Так уж случилось, что после института целый год Федор жил в Грузии. Осенью, когда в Сванетии и Мингрелии убирали виноград, высоко в небе стояли песни. На склонах горели костры, голубой дым висел в сладком воздухе, и легко одетые грузинки несли корзины с «изабеллой». В такие дни Федор вспоминал родные картофельные поля. Ветер трепал женские платки, высоко в небе пела пролетающая солома, руки ныли в остывшей земле, и от пыли слезились глаза. И так же, как в Сванетии, горели костры.

Федор рассчитался с шофером, перетащил картошку в сарай, и Клавдия Ивановна позвала их обедать.

За столом Федор много смеялся, потом рассказал про бобра, который поднял лапы и заплакал, совсем, как ребенок... Потом он вспомнил, как весной чуть не утонул, потом, как они с Журовым вытащили из болота лосенка...

Он говорил быстро, сбивчиво, не давая им опомниться, он боялся остановиться, потому что боялся невинных вопросов Любиной мамы. Даже когда она спрашивала, страшно ли ему было, Федор неопределенно улыбался, боясь сказать что-нибудь не то.

После обеда он сразу полез на крышу. В нескольких местах жесть заржавела и провалилась. С карканьем железо оторвалось от балки. Федор стал яростно бить молотком, ровняя новые листы жести.

Клавдия Ивановна выходила во двор и улыбалась ему?

— Давно пора было починить, да все времени нет,— оправдывался он.

Гвозди кончились. Федор спрыгнул с крыши. Люба гладила его рубаху.

— У тебя гвозди есть? — спросил Федор и увидел кричащие от боли Любины глаза.

Она вышла как обреченная, принесла гвозди.

Клавдия Ивановна была на кухне и все слышала.

Федор попытался исправить ошибку. Сердито сказал Любе:

— Вечно ты куда-то их прячешь.

На кухне было тихо-тихо.

Залез на крышу и стал забивать эти гвозди прямо в сердце Любе, ее маме, себе!

«А может, она ни о чем не догадывается? Не все ли равно! Ведь не в этом дело! Так в чем же?» Он уже знал ответ, но боялся даже мысленно произнести его.

Провозился на крыше до вечера. Люба забралась к нему, сидела рядом, вдруг спросила шепотом:

— Может, ты мне и полы перестелешь?

— А что, запросто.

— А сколько я тебе буду должна?

— Потом посчитаем.

Новые куски жести горели в лучах заходящего солнца. Федор закурил, встал и увидел Днепр. Посередине реки плыла лодка, и за ней тянулась длинная цепь красных треугольников.

— Бакены снимают,— сказала Люба.

Клавдия Ивановна позвала их ужинать.

О чем она говорила? Так, о себе...

— Если беда, бабы ее заранее чуют. За неделю до похоронки на Степана моего я как деревянная стала. Работаю и плачу. И все у меня болит нестерпимой

болью, а я тогда здоровая была. Ну, а потом похоронка пришла. Что там, Витенька, пишут, будет война?

Федор сказал, что не будет.

— И славу богу,— отозвалась старуха.

На трассе гудели машины, зыбкий свет пробегал по стене, и тьма бежала вслед за ним.

А потом он лежал на диване, и, хотя рядом было ее дыхание, никогда они не были так далеки друг от друга. Они лежали в оцепенении, как замороженные насквозь сосны. Лежали, боясь пошевелиться, вздохнуть, улыбнуться... Ложь лежала между ними, и они знали это. И ненавидели ее. И боялись. Ненавидели и боялись потому, что она опередила что-то другое, не имеющее пока своего постоянного облика, цвета, имени.

Может, для нее Это была птица, большая и белорозовая. На целине она видела этих птиц. Звали их фламинго. Однажды шофер выстрелил и фламинго закричал. В каком-то журнале писали, что это очень редкая птица.

А для него Это, может быть, всплыло задыхающей мареной.

...Журов взял анализ воды, и лицо его потемнело.

— Сульфат натрия? — спросил Федор.

Журов махнул рукой.

— Еще хуже, ложь...

И тут по реке поплыли какие-то незнакомые Федору рыбы. Они плыли на боку или кверху брюхом, вяло шевеля плавниками. Федор спросил у Журова, что это за рыбы. Журов удивился, что Федор не знает их. Вон та — нежность, а вон та — взаимность, а эта — первый поцелуй... Их отравила ложь! Неужели они не выживут? Журов сказал, что ему, Федору, виднее. Ведь он отвечает за эту реку. Федор возразил — за эту реку отвечает не только он. Все отвечают за нее. И даже те, кто жил тысячи лет тому назад. И не только здесь. Плохие люди всех времен и всех земель.

— Но ведь ты хороший человек,— сказал Журов.— Поэтому сегодня отвечаешь ты!

— Я сделаю все, что смогу,— сказал Федор и побежал на выстрел.

Возле раненой косули стоял массовик, и в его руках дымилась флейта.

— Попался, гад! — Федор заскрипел зубами.

Но массовик небрежно вынул лицензию, и какие-то получерти-полусвиньи заплясали вокруг костра, на котором жарили косулю. Федор чуть не заплакал от бессилия, но глянул на лицензию и увидел, что вместо его подписи стоит другая. «Ложь»,— прочел Федор и расшвырял костер. Нечисть как ветром сдуло, а Федор уже доставал багром мережи и бросил их в костер. В мережах билась пойманная ложь, и пламя пожирало ее!

Ложь была мокрой и скользкой. Пламя начало гаснуть, но Федор швырнул в него свою любимую куртку, которой он так гордился. Он отдал все, что у него было, и пламя ожило. Дорога бросилась под колеса мотоцикла, и Федор оказался у себя дома. В почтовом ящике он нашел письмо от Любы. Он знал, что это очень хорошее письмо, и поэтому долго ходил по городу, но не открывал его, продляя ожидание перед встречей с большой радостью. Она писала, что у нее разболелась голова и в ту же минуту она подумала, что и ему сейчас больно. Может, он упал с мотоцикла? Она просила его быть осторожнее. Вечером ей стало весело, и она знала, что у него все хорошо и ему весело.

Федор читал ее письмо и думал о том, что раньше их работа, лес и река очищали его душу, но теперь ему было мало их любви и чистоты. Ему нужна была еще и она... Холодный ветер нес с Прибалтики дождевые тучи, в городе было пусто и диковато, воля и бодрость проснулись в сердце! И вспомнилось ненастье той ночи, он даже физически ощутил его вместе с запахом воды,

плеском листьев, вспышками зарниц, бессонницей, тревогой, раскаянием. И он почувствовал, как при одной мысли — когда-нибудь его любимая умрет! — душа его восстала против неизбежности, с которой уже смирилась, скитаясь по лесам. Он увидел ее лицо в березах, оно разрасталось и заполняло пространство, и птицы летели по ее лицу. И Федор знал, что это лицо — самое лучшее из всего, что нарисовала для него Жизнь. Что-то на мгновение приоткрылось ему.

Видно, человек с самого начала своего бытия носит в душе какой-то определенный образ. С годами этот образ, конечно, изменяется, иногда очень сильно, и все же человек ищет среди тысячи лиц то, которое живет в его воображении. Какое оно? Этого он не знает. Но вот оно промелькнуло. Стоп! Да, это оно. Значит, он давно уже знал это лицо, эти линии рта, эти волосы? Да, знал. И вообще он знал ее уже давно. Очень давно. Даже тогда, когда они еще не жили на земле?

И Федора охватил страх — ведь они могли не встретиться. Смешно, конечно, но если бы он струсил в тот день, Журов не притормозил бы возле медпункта. Страшно быть трусом. Какой прекрасный страх! И дурацкий! И вообще он вел себя с самого начала по-дурацки. Ведь он так долго не верил себе, да и она думала, что он обычный балагур-весельчак. Уж этот извечный маскарад! Умный притворяется дураком, дурак — умным.

Рассвет не принес бодрости. Суббота кончилась, и воскресенье началось, а ночи между ними не было. Осень наследила в кухне — окно они не закрыли, и весь пол был в желтых листьях. Из крана текла ледяная вода. Осень, осень, везде, во всем осень!..

Выручила старуха:

— Осень проходит, все люди грибы сушат и солят, вы что? Или вам не надо? Айда в лес!

Это было спасением. Они были готовы куда угодно

бежать из комнаты, где так неудачно разыгрывали свое счастье.

Попутная машина довезла их до Прибора. Вышли на сорок третьем километре. Федор хорошо знал эти места. За большим лесом начиналась череда маленьких рощиц. Многие из них даже после субботнего налета грибников оставались нетронутыми.

Глубокий мох привычно пружинил под ногами. К мокрым резиновым сапогам прилипли нежно-белые листья бересклета. Сизая дымка холода текла по веткам крушины. Лес поблек и остекленел. На безымянную могилу роняла последние кровавые слезы осина. Молча вышли к узкоколейке.

Сосны вышли им навстречу. Бор был просторным и четким: тень — свет... Люба вскрикнула. Федор оглянулся. Она показала ему боровичок и высунула язык.

— Ой, еще один...

Люба метнулась к дороге. Клавдия Ивановна близоруко оглядывалась. Где-то справа, а потом слева, впереди и позади стали перекликаться грибники. Федор медленно спустился с холма и поднялся по склону. Последняя неделя была дождливой, и Федор знал, что грибы в таких случаях растут на открытых местах. Весь склон был в зарослях черники, в глаза бросились желтые шляпки валуев и зеленые — сыроежек. Возле муравьиной кучи сгрудились красные мухоморы.

— Ау, Витя! — закричала Клавдия Ивановна.

Федор откликнулся и увидел боровой гриб.

Тысячи, десятки тысяч раз Федор входил в лес, и перед глазами возникал он. А сердце так заколотилось, словно все опять было впервые!

У него был толстый белый корень и кофейная шляпка. Сосновый боровик! Рядом с ним стояло три маленьких. Федор срезал их и неторопливо оглянулся. Есть! Знакомый волнующий промельк боровика. Ликующая память уже сфотографировала то место, где он стоял,

а глаза скользили дальше по кругу. Есть! Два классических профиля. Есть! Прикрылся дубовым листом... Брюки на коленях намокли. Нож со скрипом вошел в плотную белую мякоть и отделил гриб от земли.

Федор поднялся по склону, прошел метров десять и опять начал спускаться к дороге. Маленьких боровиков было много, и Федор знал, что это их последний бурный рост. Возле дороги, под елками, Федор увидел, нет, скорее почувствовал, услышал тихий зов белых груздей... Ледяные, желто-прозрачные грибы подарили ему тончайший запах живицы!

— Где ты? — крикнула Люба.

Опять не назвала его по имени. Она не могла называть его Виктором. И Федором не могла...

— Ку-ку! — вдруг откликнулся Федор и увидел Любу. Увидел как будто впервые, как тогда... Она была в стареньких синих брюках, плотно облегающих ее крепкие ноги, и в своей серой куртке. Той самой... И лицо ее было, как тогда, залито лесным солнцем.

— Как тебе не стыдно, — закричала она каким-то не своим голосом. Но это и был ее прежний голос. — У тебя уже половина корзины, а у меня только семь. И сыроежек несколько.

— А вон стоит восьмой.

Люба увидела боровик, бросилась к нему и радостно засмеялась. Это был очень большой чистый боровик, боже правый, и Люба поцеловала его.

А потом они смеялись, кричали от радости, восхищались своими находками, аукались, звали друг друга и вдруг почувствовали, что все это искренне... Ложь заблудилась где-то в подлесках и отстала от них!

Зачем разыгрывать счастье, если оно есть в самом деле? Вот о чем подумали они, но не сказали об этом друг другу, потому что боялись — а вдруг все пропадет...

Больную старуху обмануть можно, а природу нельзя, потому что природа помогает стать самим собой.

— Я все твои грибы срезаю, а у тебя все равно вдвое больше,— удивлялась она,— я совсем не умею их собирать.

И тогда Федор открыл ей то, о чем сам никогда не думал. Конечно, он знал эту тайну, но никогда не превращал ее в слова...

Грибная охота — постоянная, сладостно-мучительная борьба со стандартным образом мыслей. Ты походил по лесу и устал. Справа — ельник, слева — березки и сосенки. Прямо — тропинка. Усталый мозг, усталые ноги, усталые глаза — все тянет тебя на эту тропинку или, в крайнем случае, в березы. Там легко пройти. Там и грибы могут быть. Но перед тобой обязательно кто-то уже прошел. И он так же, как и ты, подчинился своей усталости. Он выбрал самую легкую дорогу.

Стой! Преодолей себя. Иди влево. Продирайся сквозь ельник. Тащи за собой тяжелую корзину. Вот и поляна. Во мху белый корень, прикрытый бронзовой шляпкой. Это — награда! И опять борьба с самим собой, с усталыми глазами, которые выбирают доступные тропки.

Возле болота они остановились. Федор набрал горсть брусники и высыпал ягоды в ее ладонь. Она съела их и зажмурилась. И вдруг Федор поцеловал ее. Люба не оттолкнула, даже не удивилась и ничего не сказала.

Это был их второй поцелуй — кисловатый, терпкий, прохладный...

Встретились на поляне. Корзина у Клавдии Ивановны была полной. В ней были и подберезовики, и опята, и сыроежки, и подосиновики.

Федор невольно улыбнулся.

— Не смейся,— сказала она,— в мои годы выбирать грешно. Что лес дает, то и бери. А у тебя одни белые? Смотри-ка, вот красота какая...

— Клавдия Ивановна, сколько вам лет? — спросил Федор.

— Шестьдесят, Витенька, а иногда кажется, что тысяча...

Старуха приотстала от них и повторила:

— Красота какая!

«Это она про нас»,— подумал Федор.

— А почему ты от мужа ушла,— вырвалось у него.

Люба вздрогнула, шепотом ответила:

— Понимаешь... Ни разу мы в одно и то же время одно и то же не почувствовали...

— Понимаю,— сказал Федор.

В траве возле дороги стоял большой подосиновик. Вокруг белели срезанные корни. Как только его грибники не заметили? Торопились, бежали, все не подберешь...

Федор первый увидел подосиновик, но ждал, пока его увидит Люба. Они накрыли шляпкой ее корзину.

Федор остановился нарезать жимолости. А листья были бледно-розовыми, весенними. Он прикрыл ветками грибы, так всегда он делал. Просто везти из лесу жимолость — стыдно. Другое дело — корзинку с грибами прикрыть. А дома можно поставить жимолость в бутылку. Люба и Клавдия Ивановна уже вышли на трассу, и Федор почувствовал себя как прежде — в лесу он был один. И все-таки появилось что-то непривычное в его чувствах, притаилась какая-то новая мысль — одиночество прекрасно, если у тебя кто-то есть.

Первый автобус даже не остановился, второй они сами пропустили, в третьем было просторней. Для Клавдии Ивановны нашлось местечко. В проходе, на площадке и на коленях пассажиров — везде были корзины, и Федор опять подумал о том, что давно уже не видел столько счастливых людей вместе. Вспомнилось девятое мая 1945 года. Тогда они жили еще в подвале. Ночью проснулись от выстрелов. На крыльце районной милиции стоял босой парень в сорочке и бил в небо трассирками.

— Победа! — закричал он, и все соседи заплакали. И Любина мама тоже плакала в тот день от счастья, но не было у нее уже ни мужа, ни старшей дочери. «О, слава русская, что смешана с печалью, сиротством, болью, кровью и золой...»

Откуда это? Федор так и не вспомнил.

В автобусе пахло лесом, словно часть его души нежно перевозили в город. Возле медпункта Федор попросил шофера притормозить. Они вышли и увидели шесть красно-зеленых квадратов на крыше их дома. Жесть горела так ярко, что Люба зажмурилась. А потом он надел рубаху, которую она выстирала и погладила. Белое полотно пахло черемухой и холодом. Если бы можно было лечь на раскладушке, ему совсем было бы хорошо. Но придумывать новую причину он не хотел, это было еще хуже, чем деревенеть на краешке дивана. Он закрыл глаза и увидел в траве иссиня-черную шляпку боровика. Открыл глаза...

Луна заливала ее лицо, совсем как в ту ночь, когда он спал с Иванчиком на сеновале.

Люба закрыла глаза, и он знал, что она уже во власти грибных кошмаров.

Люба открыла глаза.

— Ты не спишь, Люба?

— Не могу заснуть, грибы мерещатся. Сначала один, потом сразу три, а сейчас этот подосиновик.

— И у меня то же самое.

— Надо заснуть, завтра работы много. Может быть, в Краснополье полечу, врач из колхозной клиники просил.

— Разве у них медсестер не хватает?

— Медсестры тоже болеют. Опять грибы в глаза лезут.

— А ты расскажи что-нибудь о себе, тогда заснешь.

— А ты и так обо мне все знаешь. В детстве в классы играла, потом учительницей хотела стать... После

войны наголодались... Работала кладовщицей. Никого не обвешивала...

Федор открыл глаза. Луна двоилась в открытом окне. Две луны — две чаши, словно золотые весы вечности, все яснее проступали их контуры, и чаши покачивались.

Где-то неподалеку надрывно работал мотор. Заглох. Опять завыл. Наверно, забуксовала машина. А может, кузов перегрузили, и «МАЗ» не одолел подъема...

Федор закрыл глаза и услышал грохот бульдозера. Откуда бульдозер? Федор открыл глаза. По окну стекал желтый автомобильный свет, пронзительно ревел мотор. Закрыл глаза: бульдозер крушил дубы и кусты орешника. Хаос веток надвигался на Федора. Вдруг его позвала Люба, и он увидел ее по ту сторону черно-зеленого месива. Она махала ему рукой, и он махал ей рукой, и они что-то кричали друг другу, но грохот мотора заглушал их голоса. А потом они продирались сквозь этот хаос веток, увязали в них, падали, спотыкались, аукались... Они были уже совсем близко друг от друга, совсем близко, но ветви цепко держали их. А над ними журчали, журчали чьи-то голоса, и солнце падало в измученный ветрами лес.

Утро было серым и тусклым. Но как только он с тоской подумал о солнце, оно выглянуло на несколько мгновений из облаков и осветило мокрые тополя. Конечно, это было случайностью, совпадением... И все-таки это было чудом. По трассе промчались машины. В кузовах стояли студенты и хором орали песню «А что я сказал медсестре Марии?..». Это было уже слишком! Слишком много совпадений, хотя Федор сам раньше напевал эту песню, если был один. Куда они поехали? Наверно, на уборку картофеля. Ну, конечно, ведь уже октябрь, поздняя осень...

Опять выглянуло солнце, посветило несколько минут, выхватило редкую зелень поздней травы, поиграло на трассе автомобильными зайчиками и пропало... А потом Люба попрощалась с мамой и уехала в колхозную клинику. А потом собралась Клавдия Ивановна, и Федор повез ее на вокзал. Перед въездом на мост пришлось постоять в длинной нетерпеливо гудящей колонне машин. Над темной отчужденной водой рассеянно скользил туман. Берег реки был пустым, безлюдным, сквозь тополиную рощицу прорвалось небо, высокий ветер обрывал последние листья. И даже вязы, которые крепко держат свою листву до самого снега, стояли холодные и строгие.

В городе возле ЦУМа Федор остановил мотоцикл. Надо же было купить для Клавдии Ивановны что-нибудь на прощание.

Продавщицы похихикали, спросили, сколько лет старушке. Федор терпеливо ждал. Покупателей было мало, и девочки не торопились. Предложили перламутровую помаду, потом щипчики для бровей. Наконец одна, самая нервная, не выдержала, сжалась, вытащила откуда-то серо-голубой огромный шарф-платок. Именно это Федору и нужно было. Испугался, вдруг денег не хватит, глянул на этикетку — отлегло.

Люба утром совала ему деньги, но он вспомнил кошелечек, зажатый в ее руке в тот день, когда они поехали в кафе. Сказал, что потом рассчитаются.

Клавдия Ивановна сидела в коляске. Федор отдал ей платок, буркнул «от Любы и от меня», старуха благодарно закивала головой, и он в ответ торопливо закивал и завел мотор, чтобы поскорее закончить с этим делом, а то еще начнет словами благодарить за внимание и заботу, а Федор не знал, что в таких случаях отвечать.

Старый город кончился, замелькали разноцветные балкончики микрорайона. Федор догнал грузовую ма-

шину, набитую мебелью и узлами. На диване, обхватив горшок со столетником, сидела молодая женщина и улыбалась не то Федору, не то своим мыслям. А может, с чем-то прежним прощалась.

— Скоро и мы с Любой переедем,— крикнул Федор Клавдии Ивановне и невольно крутанул ручку газа, а то старуха еще спросит что-нибудь такое... Она только головой закивала. А ветер на пустырях сильный, глаза ее заслезились. Но тут и вокзал показался. До отхода поезда оставалось минут двадцать.

— Вы не волнуйтесь,— сказал Федор,— все будет хорошо. Вот немного освобожусь и полы перестелю. Друг у меня есть на кроватном заводе, он мне уже краску достал. И мебель скоро купим. Когда ордер на квартиру дадут, тогда и купим.

Вошли в вагон. Офицер Клавдии Ивановне нижнюю полочку уступил. Вышли на перрон, минут десять оставалось. Федор сказал, что сигареты кончились, побежал к киоску, купил «Шипку», вернулся, закурил. Минут пять оставалось.

— Как доедешь, напиши,— кричал в окно высокий парень, а девушка что-то писала пальцем на запотевшем стекле и улыбалась.

— Как доедете, напишите,— сказал Федор Клавдии Ивановне.— А мы сразу ответим. И грибов сушеных пришлем. Вот такие дела...

По репродуктору объявили посадку. Они поцеловались, и он опять заговорил быстро-быстро о том, что он рамы вставит и полы перестелет. А она улыбалась и поддакивала. А потом сказала... Что она ему сказала?

— Ты лучше женись на ней, Федя, она ведь хорошая.

И тут поезд дернулся, и Федор соскочил на перрон. И когда он понял, что она ему сказала, поезда и след простыл. Только дымок над перроном висел, а потом и он растаял.

Журов поймал-таки Мирона. Может, он бы и не попался, но со стройки удрали два хулигана. Несколько месяцев им оставалось до освобождения. Перевернули ларек, доской оглушили женщину, которая их заметила. Мирон утром юлил в своей плоскодонке, тихонько напевая: «Человек это тот, кто трудится...» Он прижался к берегу, проверил капканы, в одном была норка. Раньше, когда Мирон был молодым, норок здесь вообще не было. Рыбы стало меньше, зато появились норки, ондатры, бобры. Мирон оттолкнулся от берега и почувствовал, что кто-то держит корму лодки. Он оглянулся и увидел их и сомлел. Они забрали еду, какие-то рубли, плащ. И тут затарахтела моторка, и на них наскочил Журов. Один из парней выхватил нож. Журов с веслом бросился на них, с маху ударил по плечу того, который был с ножом, ногой отбросил нож. Второй парень навалился на Журова, стал его душить. Тогда Мирон схватил свое весло и перетянул бандита по спине. Тот отвалился, задыхаясь. Первый был не опасен, его правая рука висела. Журов скрутил парня.

— Веревку,— крикнул он Мирону.

Мирон суетился, отвязывая от капкана веревку, руки дрожали.

— Скорей,— крикнул Журов,— пока второй не пришел в себя.

— А, мать их... пропадать, так с музыкой,— заорал Мирон, схватил капканы, четыре раза щелкнули пружины. Бандиты завyli от боли. Так они их и привезли — с самодельными капканами на руках. Мирон потребовал, чтобы в протоколе отметил его участие в задержании крупных преступников. Журов писать не мог, рука была в лубке, пальцы ему все-таки сломали. Акт составлял Федор.

«Браконьеры»,— диктовал Журов.

«Бюрократы» — чуть не написал Федор и подумал о том, что Журов счастливее его. Он делает свое дело.

«И точка»,— сказал Журов. И Федор снова пожалел, что не остался учительствовать. Что капканы, Мирон, два глупых уголовника? Там, в школе, начинается глухая, невидимая, жестокая схватка за все зеленое, живое, здоровое. Все начинается там...

В охотничьем домике заказника Журов и егеря обсуждали предстоящий отстрел лосей. Тут же были местные охотники. Журов роздал им лицензии. Отстрел можно было начинать хоть завтра, но идти по черной тропе — только зверей распугивать. С другой стороны, в Краснопольском районе лоси обглодали пятьсот гектаров подлеска. Вот и думали — ждать снега или начинать отстрел. Один так, другой этак, а потом разговор пошел о ружьях, о собаках, в конце концов о Луне. Журову все это надоело, сказал: «Начнем через две недели, а пока чтоб ни выстрела».

Федор сидел у окна и смотрел на ободранный, расстрепанный, но кое-где еще желтый лес. Синева прорвалась сквозь кроны, и он уже не стоял стеной между небом и человеком...

Журов застегнул ватник и поверх надел брезентовый плащ. Куртки уже не спасали от холода. На Федоре был меховой бушлат, единственная вещь, оставшаяся от летчика гражданской авиации Николая Владимировича Колхуто, смертью храбрых...

Федор вспомнил, что давно уже не ходил на кладбище, но ему не было стыдно. Он был честным сыном честного отца. Веселый охотник? Сумасшедший мотоциклист? Красивый парень? Да нет же!.. Учитель географии, а потом инспектор лесов и вод. Ну и «счастливый» семьянин.

Целую неделю он не видел Любу.

— Держись, эта дорога хуже всех,— сказал Журов. Федор лучше его водил мотоцикл. Журов сел в ко-

ляску, и они выехали на лесную дорогу, каждый метр которой был переплетен и изуродован корнями сосен. Корни взорвали грунт, а вода и солнце сделали их твердыми, как железо. Мотоцикл било, трясло и подбрасывало, словно они мчались по шпалам. Еще хуже! Мелкая тряска — самая отвратительная. Все тело трясется, башка болит, каждым суставом чувствуешь, как разбалтываются гайки, как страдает и разрушается машина. Но неужели и этот лес станет культурным парком, а дорогу заасфальтируют?

Валентина пришла к нему на следующий день после отъезда Любиной мамы. Вошла и сразу сказала:

— Федор, я не права, я должна была все бросить и бежать к тебе, потому что я люблю тебя.

Только она умела так сказать. Ее нервное смуглое лицо, и острые линии возле рта, и темно-красные тонкие волосы — все подтверждало ее слова.

— И когда я говорила о твоей работе, я тоже была не права. Считай, что ты победил, я люблю тебя. Делай что хочешь, гоняйся за этими кретинами с толовыми шашками. Но ведь ты умный человек, а не мечтатель...

— Я тебя не понимаю, Валентина.

— Не понимаешь? Ты читал дискуссию в литгазете? Там один профессор говорит, что скоро лесов вообще не будет, останутся только лесные культурные парки. Оглянись, кругом заводы. Сегодня ты — инспектор, а завтра — сторож парка, вот!

Федор засмеялся и почувствовал, что смеется тем самым смехом, которым смеялся его отец, когда выходил из себя. «Если злишься — смейся! Пока смеешься — думай. Не давай злобе победить ум. Нашел слова — говори».

— Во-первых, статья дискуссионная. Там и другие мнения есть. Во-вторых, я оглядывался. И не раз. Да, вокруг заводы, природа страдает. Но из чего твоя одежная щетка, подставка для настольной лампы, пе-

рила в твоём подъезде? Из пластмассы. А раньше их делали из дерева. Природа уже не может обеспечить людей необходимым материалом. Выход здесь один — строить как можно больше заводов. Это спасет лес. Другое дело, как строить и где.

Валентина курила и, как показалось Федору, смотрела на него с гордостью и досадой. Пепел она стряхивала на пол, причем делала это демонстративно, словно ждала, когда же он ее спросит, почему не в пепельницу.

«Ладно,— решил он,— раз ты уж явно провоцируешь, спрошу».

И спросил:

— Пододвинуть к тебе пепельницу?

— Нет! Здесь все равно свинарник.— Стряхнула пепел на стол.— Все равно я сейчас сделаю здесь уборку. Так что кончай свою мысль. И в-третьих...

— И в-третьих,— Федор улыбнулся,— природа непобедима.

— Как это непобедима?

— Непобедима, и все! Помнишь, мы весной на кладбище ходили?

— На могилу твоего отца.

— Да, а рядом чья-то старая могила и железный крест... На яблоне он висел. Вырвала она его из земли! Обхватила ветвями, когда еще совсем маленькая была, расшатала и вытащила, вырвала, потому что он мешал ей расти. Это наглядное пособие для тех, кто ставит крест на природе. Вот ведь в чем дело.

— С ума сойти, и в самом деле потрясающе. Ты все-таки учитель... Уходи отсюда,— вдруг закричала она,— и ключи оставь.

А потом он поехал на заправочную станцию. Нет, прежде он увидел сверток. Английская надпись: «Сторожу Колхуто Ф. Н. от Валентины из Америки». Ото-

мстила! В свертке были шерстяные носки и вязаный свитер.

О чем он думал, когда смотрел на ее подвижное, тонко вычерченное лицо и нервный лоб? Она никогда не вышла бы замуж за массовика Виктора. Она бы его сразу насквозь просверлила холодными твердыми глазами. Умница, злая, брезгливая, беспощадная умница.

Федор уже мчался на заправочную станцию в Любуж. Любуж, Люба, массовик. Почему она вышла за него? Неужели любила? «Унизительно это, унижал равнодушием к весне, к реке...» Нет, она не дура. Жалость? Был солдатом, пел, на гитаре играл. Наверное, рассказал о себе так, что у нее в горле защемило. Зачем? Что-то ему нужно было. А может...

Федор развернулся и поехал в город. Самозабвение. В этом ей не откажешь. На такое дело пошла. И сразу даже не сказала, что мать оперировали в онкологическом. Долго она не протянет. Вот и решила порадовать.

А Валентина пошла бы на такое?

На трассе было пусто. Развернулся, поехал к медпункту.

Себя не жалко. Такие за декабристами поехали. Вот тебе и Люба. Почему же она не приехала к нему? Он свое дело сделал. Вернее, не сделал. Не хватило актерского таланта. Любит ли она его? Если бы любила, пришла бы, адрес знает.

Развернулся возле столовой и понесся в город. Только три серебристые петли остались на мокром асфальте.

Но он был благодарен ей за то, что он ее любит...

И на следующий день не пришла!..

Прививки делала коклюшно-дифтерийно-столбнячные? А может, плакала? Дура! А если бы он заболел? Ну, хотя бы вещи привезла, что ли!

А Валентина опять пришла, как будто что-то учуяла. И Журов заглянул на огонек. Калининградских

сельдей принес. Сказал: «Имеем право выпить бутылочку «особой». Выпили. Журов всех потряс местной новостью — собака охотника застрелила. «Он сел поест. Ружье положил на рюкзак, а на предохранитель не поставил. Собака лапой на курок наступила — и все. Потом жена покойника рассказывала, что собака на охоту не хотела идти. Скулила в будке, упиралась, как будто чувствовала. Раньше, как увидит, что хозяин с ружьем, прыгает от радости. А в то утро не хотела. Чужая, а?»

— А ты не врешь? — спросила Валентина.

Журов и отвечать ей не стал.

А у Федора спросил:

— Что-то такое есть, а, Федор?

Валентина улыбнулась:

— Журов, ты уже пил сегодня?

— Только с вами.

— А к чему ты об этом случае?

— Просто так.

— Значит, это не ложь. Просто треп! А я думала, с целью. Цель оправдывает средства. Или нет, Федор?

— Нет.

— А ты бы женился на мне, Журов?

— Запросто.

— А он не хочет.

— Дурак. Я ему уже говорил, лицензию на лося выпишу. Можно и на кабана. К свадьбе, а?

— А ты бы за Журова пошла?

— Нет.

— Почему?

— Давай поженимся. Что мы все вокруг да около, а время идет. Самое главное сказать не умеем. Мы ведь не дикари. Думаешь, я пьяна? Это мой стиль.

— Знаю.

Зазвонил телефон. Журов подмигнул и взял трубку.

— Алло, да...— Отрезвел. Бросил трубку.— Ошиблись номером.

— Кому вы нужны? Даже браконьерчики вас всерьез не принимают.

— А мотоцикл однажды сожгли.

— Кто?

— Подростки из интерната, восьмиклассники. Облили бензином, завели и спичку бросили. Как факел по лугу носился...

— При чем же здесь браконьеры?

Звонко выстрелила камера. Все-таки напоролись!

Журов с трудом вылез из коляски. Заменял колесо. Выехали из лесу, стало еще холоднее. Неестественно ярко зеленело озимое поле, даже зеленый цвет не радовал, всему свое время. На одиноких серых столбах сидели вороны. Остановились в рощице возле трассы. Березовая кора пахла снегом. Журов сел за руль. Выехали на асфальт. Воздух ледяным стеклом запечатал рот. Плащ Журова пузырился и стрелял в синеве. Цель оправдывает средства? Нет, не оправдывает. Оболгался с добрыми намерениями! Не все ли равно, с какими? Даже вещи не забрал. Что она думает о нем? Если бы она знала, что он сам себя ненавидит за все, что случилось. Могло быть иначе... А может, ничего бы не было?

Журов притормозил. Стадо коров медленно перешло дорогу. Пастух в брезентовом плаще нес охапку хвороста. Спустился с насыпи, бросил хворост, высморкался и достал спички. Так он и остался в памяти— один под осенним небом возле робкого пламени, которое он защищал от ветра лиловыми руками.

Березовые холмы кончились. Лес попрощался с рекой, помахал ей почти голыми ветвями, и они побе-

жали по равнине. Федор хорошо знал эти места. Однажды в конце зимы он гонялся здесь за хромым енотом. Енот выскочил из орешника и заковылял вдоль реки. Снег был глубоким, и бежать зверю было тяжело. Федор бросился за ним, сам не зная, для чего. Енот оглянулся и, когда Федор почти настиг его, жалобно взвизгнул и закувыркался с обрыва. Страх помог собрать последние силы, и енот снова оторвался от своего преследователя. Так они пробежали километра два или три. Вдруг енот спустился к реке, перестал хромать и ловко заскользил по льду. На той стороне он оглянулся, и Федору показалось, что енот ехидно улыбается ему. А потом он вообще перестал обращать внимание на Федора. Отвел от норы! Федор вернулся к зарослям орешника и увидел на снегу следы маленьких енотов.

Журов посмотрел на часы, подмигнул Федору и крикнул:

— Как раз вовремя приедем! Переоденемся и к пяти будем там...

Река текла параллельно дороге. Начался «Красный берег» — любимые ямы спиннингистов. Щуки в этих ямах не убывали. И какие щуки — короткие, толстые, донные! На обрыве стоял одинокий рыбак. Даже в будний день кто-нибудь обязательно рыбачил на красной глине. Спиннингист размахнулся, и под солнцем вспыхнула белая блесна. Ее полет был длинным и плавным. Федор представил, как она уже колеблется в темной воде возле самого дна и каждый сполох волнует детскую душу человека, который не сдается холоду и старости.

Река ушла вправо.

А у Федора вдруг появилось ощущение, что он прощается с лесом, рекой, охотой, рыбалкой...

Журов опять посмотрел на часы и сказал:

— Успеем.

Стрелка спидометра все время стояла на восьмиде-

сяти. Через полтора часа Валентина будет ждать его в загсе, в тот день они договорились подать заявление.

Страшная усталость навалилась на Федора. Он и раньше уставал после таких командировок, но наутро все проходило. Журов был выносливым человеком, а Федор еще выносливее. Странно — Журов выглядел свежо, бодро, а Федор не мог даже пуговицу возле воротника застегнуть. Хотелось лечь, свалиться на траву, на кровать — все равно куда — и заснуть. Нет, это была не обычная усталость... Это была усталость не до утра, а надолго. Федор мучительно представил, что еще придется вылезать из коляски, закатывать мотоцикл в сарай, переодеваться, бриться, а воду теплую, наверное, не пустили — брр! А потом искать где-то цветы, а где их теперь найдешь? Новые туфли жмут... А через месяц они распишутся, и Валентина уговорит его взять отпуск. В прошлом году Федор отпуска не брал, так что она уговорит его взять на два месяца. И поедут они куда-нибудь в Прибалтику, к морю. Будут жить где-нибудь в маленьком пансионате, обедать в чистеньком кафе. А ехать надо с пересадками, полночи торчать в Орше, стоять в длинной очереди. А в пансионате может не оказаться свободных мест, придется искать в незнакомом городишке комнату. С ума сойти! И это не все. Ведь не будут же они два месяца жить в Прибалтике. Валентина есть Валентина. Они обязательно поедут в Москву. Жена будет таскать его по театрам и магазинам. А в ЦУМе столько народу. А в ГУМе еще больше. А где они будут жить в Москве? Гостиницы там всегда переполнены. А потом тащить всякие чемоданы, саквояжи и пакеты на вокзал. Опять толкаться возле кассы, вытирать со лба пот, бежать по перрону...

И вдруг Федор понял, что он заранее устал от всего этого. Вот именно — заранее. Какое-то слово вертелось на языке, мучило, не давалось. Наконец он вспомнил

его — всеядность. Не от работы он устал. И не от дороги, изуродованной корнями сосен. И не оттого, что спал всего три часа на голой лавке в домике заказчика. Ведь он никогда от этого не уставал. Он заранее устал от ее всеядности. Она из всего извлекала радость, она везде хотела быть, причем так торопилась, что преходящее и непреходящее заранее не различала.

Журов поглядывал на часы и подмигивал Федору: мол, успеем, а уж там я погуляю. Еще бы — свидетель!

Любужский бор расступился, и под солнцем вспыхнули шесть серебряно-красных квадратов на крыше медпункта. Жесть еще не потускнела, и это почему-то обрадовало Федора. И тут он вспомнил, что его электробритва и всякие тряпки — все у Любы. Как же он побреется?

— Притормози на минутку, — сказал он Журову.

Тот неодобрительно глянул на Федора: мол, в такой день можно было бы и не отвлекаться от главной цели.

Притормозил, но мотор, конечно, не выключил.

Федор вылез из коляски, длинными шагами пересек дворик. Остановился возле ее двери. Под водостоком стояла бочка, заполненная до краев темной водой. В ней плавал притонувший кленовый лист.

— За вещами? — спросила Люба.

— Да, за вещами.

И зачем-то добавил:

— Только я к ней не поеду.

Он уже все знал. Он знал, что не любит Валентину. А Люба добрая, терпеливая, но... Он больше не будет ее обманывать... Ее, себя. И Журова тоже... Завтра он напишет заявление с просьбой уволить его из инспекции. Он будет работать в школе. Не обязательно в сельской глуши, это пахнет наивной романтикой. Он будет работать в обыкновенной городской школе. Хотя бы в той, где проходил практику и слышал, как учитель говорил ученикам: «Миша упал, сраженный

фашистской пулей. Миша — подлежащее. Упал — сказуемое. Сраженный чем? Пулей. Дополнение. Какой пулей? Фашистской. Определение. Небышинец, ты почему не пишешь? Что я сказал? Повтори».

«Миша упал...»

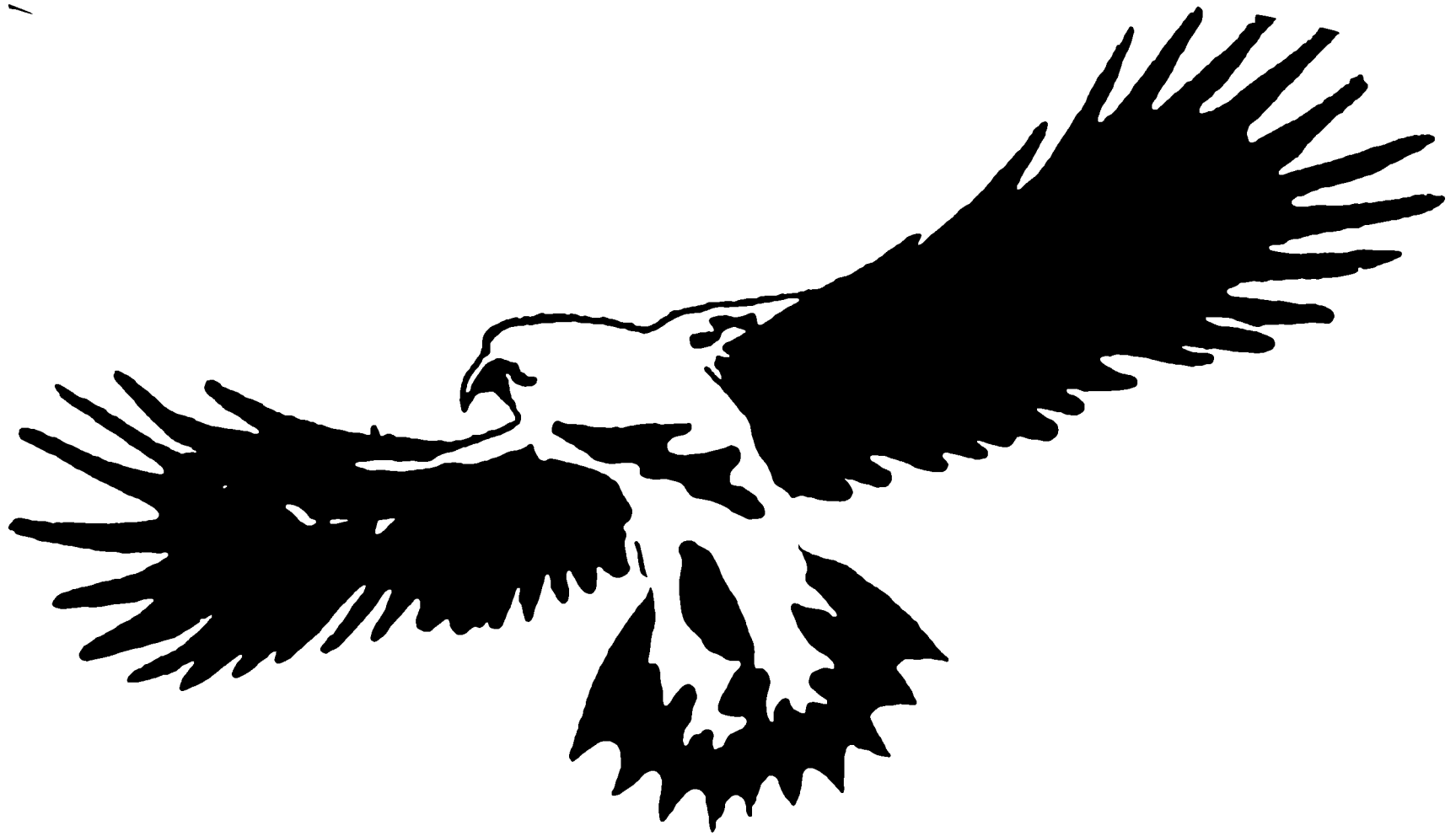
«Выйди из класса».

Маленький круглолицый Небышинец вышел, ссутулясь. Конечно же он представил, как его ровесник партизан Миша упал в траву и на фуфайке расплывается красное пятно... И так его затрясло за партой, словно почувствовал он в руках тяжелую сталь автомата. Он хотел помочь Мише. Отбить его. «Упал — сказуемое, пулей — дополнение». В тот день Федор не сказал коллеге, что вместе с правилами грамматики тот прививает своим ученикам бациллу равнодушия. А потом вырастает человек и станет начальником автобазы. И будет спокойно смотреть, как текут в реку жирные ручьи солярки.

Эти ручейки текут издалека, из школы, из цеха, в котором рождается будущее. И леса и реки, все можно спасти только там, в школе. И Федор знал, как их спасти, — надо в самом начале спасти душу человека.

III





ТЕНЬ ПТИЦЫ

Все это промелькнуло, как птица в прожекторе.
Изрешеченные светом чинары, клейкие листья, аккуратно изъеденные червями, словно пробитые компостером.

Развалины мусульманского кладбища...

Стрижи просквозили ущелье, хватая серебристых бабочек-поденок. Шум, рождаемый их полетом, оглушал каких-то особенно чутких тварей, как оглушают нас реактивные самолеты.

Стрижи ошиблись. Это были искусственные мушки

из овечьей шерсти с острыми крючками внутри. Мальчики, свесившись над пропастью, подергивали лески. Стрижи на лету хватали приманку... Вот мальчик подсек птицу, и она закричала. Маленькая крылатая боль, нет, какая уж там крылатая,— нестерпимая боль, заметалась на одном конце лески, а на другом запрыгала, завопила дикая радость. Мальчик, расставив ноги, подтаскивал бьющуюся птицу, ловко сбрасывая леску на землю.

Вот еще один жалкий, тоненький крик заметался на леске.

Мальчики, как в бреду, палками добивали птиц, вырывали крючки из окровавленных клювиков и, хвастаясь друг перед другом, считали добычу. Они быстро разожгли костер. Так делали их голодные прадеды и деды, и эта, уже бессмысленная жестокость вдруг оказалась сильнее сельского учителя.

Наступили летние каникулы. На зеленом холме грустно стояла пустая школа. Я подошел к их первобытному костру, и дети гор выбрали для меня хорошо обжаренного стрижа. Они плохо говорили по-русски. И вообще мы плохо понимали друг друга, поэтому мальчики не стеснялись меня. Они съели стрижей и стали смеяться над своим робким товарищем. Когда птица дернула, он отпустил леску и побежал в поселок. Теперь он оправдывался перед ними. Он доказывал им, что это случилось нечаянно. Он не хотел упускать леску, и ему совсем не жалко этих птиц, но леска проскользнула между пальцев, и он... Он побежал в поселок за другой леской! Да, да, за другой леской. Чтобы они поверили ему, он даже показал им эту леску. У него есть еще одна, кроме этой. Они могут взять эту, совсем новую. Мальчика звали Аширом. Они взяли леску. Он оправдывался перед ними, потому что он был добрее их. Он был лучше их и чувствовал себя виноватым... Отшле-

пать бы его по щекам! Обжечь его тощий зад крапивой! «Ах ты, дрянной мальчишка, почему ты доказываешь им, что ты тоже плохой?» Но если бы я даже имел право побить его, грустная мысль все равно удержала бы меня: сколько раз я был таким же, как этот мальчик... Одноклассники рассказывали мне, как они стали мужчинами. Они врали! Но, ни разу не целовавший, я ошарашивал их такими подробностями любви, что они задерживали дыхание.

Почему я столько раз был хуже самого себя?

В прошлом году ко мне на Сож приехали гости из Витебска. Они ели, пили, загорали... В то лето по реке часто плыла мертвая рыба. Когда они отшучивались от моих невеселых слов, почему я чувствовал себя виноватым перед ними? Мы лежали на диком пляже, и они незлобно посмеивались над моей худобой. И все спрашивали, когда я издам толстенькую книжечку. Почему я стеснялся своей худобы, а они не стеснялись своих слоновьих пяток и висячего жира?

Утром птицы оставляли на песке тонкие отпечатки лап. Стриж не садится на дерево — леска не запутается, не оборвется. Она тянется за ним, и другие стрижи сторонятся непонятной птицы. Что ты сделал, Ашир? Зачем ты отпустил леску? Они заклюют его, могут заклевать. Он кричит и пугает, он мешает быть счастливым. Он непонятен — за ним тянется какая-то длинная светлая нитка... Ему больно, и стрижи не знают, что ему надо помочь.

Как хорошо быть не птицей, а человеком!

И все-таки мир был задуман мудрее — даже человек физически не чувствует боль, которую он причиняет другому. Боль даже самых близких мы не чувствуем физически. Только боль очищает. Теплое дерево скамейки, чистый утренний воздух — все дарится заново. Ты постоянно помнишь о том, что живешь. И заснуть, как в юности, невозможно — окно открыто, пахнет смо-

лой, клевером, дождем. Свистнула птица, где-то засмеялась женщина... Ты был у самого края черной ямы. Тебе кажутся смешными твои недавние неурядицы. Ты стоишь в прохладной тени большого старого дерева и слышишь, как неприятность люди называют горем, неурядицу — бедой. Грызутся, мечутся, обижают друг друга; забыли, что они молоды и здоровы, забыли, что живут не вечно, что когда-нибудь их забросают землей... Человек тупеет от боли, из него тянут жилы, его режут, оглушают пантопоном, прокалывают его вены, оставляют в них иглы с трубками, по которым медленно течет в кровь спасительная плазма. И вот земля уже не колышется под ногами... Какая это радость — стоять на своих ногах и не держаться за дерево, за столб. О, этот человек все понимает. И долго еще в душе своей сохранит он чувство благодарности каждому мгновению, каждому безымянному солдату, наспех засыпанному песком где-нибудь на обочине лесной дороги.

Подмосковный осенний лес...

Пожилая румяная женщина, заглядывая в траншею, спрашивает у мужа:

— Неужели так близко от Москвы была война?

— А где вы были во время войны?

— В Москве...

Как быстро она все забыла.

Быть всегда веселым и здоровым очень просто — нужно аккуратно забывать все, что мешает жрать и веселиться.

Москва задыхалась от дыма, под Шатурой горели леса. Забыли погасить костер. Тряпки и банки захватить не забыли. И недоедки в сумку собрали, увезли домой. А костер залить водой забыли.

Милая женщина однажды мне сказала: «Ваш Лермонтов был злодей. Конечно, он великий поэт, но ведь он всех обижал, над всеми смеялся».

В больнице я понял, что самым добрым поэтом был Лермонтов. Он был добрее даже Пушкина.

«Синие горы Кавказа, приветствую вас!»

Я огляделся.

Вокруг меня были горы, и я не понимал их. В ущелье синела вздутая вена сжатой скалами речки. В двух шагах от меня грозно дышала пропасть. Пальцы на всякий случай цеплялись за камни, и жалкая моя мысль цеплялась за подробности, за привычные понятия прошлого. Больничный двор, вздутые вены на ноге больной женщины... Душевая литейного цеха, скользкие бугры мускулов, синие узлы на тяжелых руках... Вздрыбленные скалы, застывшее напряжение камня, призрачные испарения, солнечный желтый лед... Синеватый колотый сахар... Внизу — маленький газик и три муравья в сахарнице — мой друг, Вадим и Эмманет. Я не мог постичь какой-то общий смысл этого хаоса и не мог заставить себя принять все как есть; я цеплялся за частности, сползая в пропасть радостного неведения; нет, дело не в земле, не в природе, она разная. Наверное, я хотел и этот мир сделать привычным, найти в пространстве условную точку отсчета, приноровить это дикое великолепие природы к одному из своих любимых стандартов, и в то же время я не хотел этого — в меня входили горы, и голова раскалывалась от напряжения. Я пытался что-то понять, но я не знал — что именно?

Вчера, как только мы отъехали от станции, меня даже в пот бросило. Где спиннинг? Вот он! Я вытер испарину, закурил... Переворошил рюкзак, проверил снасти. Мне казалось, что я что-то забыл. Документы на месте... Шерстяные носки, кепка, аптечка, целлофановый мешок, коробка с блеснами... Все на месте, и все же чего-то нет. И вдруг я понял, что просто я чувствую себя не в своей тарелке, а точнее — не в своей долине, не в своей средней полосе, я — в горах.

Я сполз по крутой тропе, нащупывая дорогу ногами и руками. Пальцы скользнули по камню, похожему на голову какого-то зверя. Клыки, глазницы, уши... Я не верю в метаморфозы, никакими мотыльками в этот мир мы не вернемся. Но если бы мы воскресли в облике диких зверей, пожалуй, я стал бы волком, мой друг — вепрем, а Вадим — рысью. А если бы мы превратились в рыб, мой друг стал бы окунем. Он — молчун, скрытый человек. Окунь любит стоять в тихих глубоких ямах, он глазастый, тяжелый, сутулый, мясистый. Чешуя у него плотная, крепкая, не соскоблишь. А я жерех — этот стоит наверху, на быстрой струе — костистая, плоская, очень резкая рыба, но быстро устает. А Вадим стал бы щукой.

Когда мы прилетели сюда, Вадим и мой друг послали телеграммы домой: «Все порядке приземлились...» Они заказали междугородный разговор с другом Вадима, который должен был прислать шофера, а я сдавал телеграммы. Мельком глянул на телеграмму Вадима: «Москва... Голубцовой Светочке». Не Светлане, а Светочке. И сразу я его невзлюбил.

В прозе так не делают, сначала покажут человека одной стороной, потом другой — поступки, слова, а из них уже складывается отношение. Но я его сразу невзлюбил, так и пишу. За что? За преднамеренную фальшь — телеграмму все читают, есть чувства, которые этому бланку не доверяются. В дороге он читал нам Заболоцкого, Блока, Баратынского. Он чувствует слово, он понимает, что фальшивит... А если бы мы стали птицами? Мой друг стал бы аистом, он семьянин. Я — кукушкой, я — птица вольная. А Вадим, пожалуй, ястребом. Эмманета я еще не знаю. В прошлом году, весной, я и мой друг ехали на Днепр. Газик застрял. Пошли за трактором. В поле у костра стоял пастух. Жаворонок спасался от ястреба и залетел в рукав пастуха. Пастух зажал рукав и, беззубо улыбаясь, осторожно

нащупал птицу под мышкой. Он вытащил ее, как будто свое сердце. Теплый жаворонок трепыхался в его ладонях...

Я знаю, о чем думал старик. Я сам об этом думал, глядя в холодное небо. Сразу обо всем и всех жалея. Смеркалось. Эмманет сел за руль.

Свет бойко разогнал сумерки, но когда начался подъем, свет иссяк в небе, расплылся. А что он мог в этой беспредельности?

Вчера мы летели сюда, и самолет сильно затрясло. Мой друг сказал:

— Уж если врезаться, так в Казбек или Эльбрус!

Он спал в самолете, а я сидел в кресле над облаками, аж ноги холодели, всю жизнь летаю и боюсь.

А потом эта дорога — сутки в двух шагах от пропасти. Эмманет шутя спросил: «Может, поедем по короткой дороге?» И Вадим ухватился за эту чертову дорогу. Мой друг его поддержал. Эмманет покрутил пальцем возле головы. Тогда они называли его джигитом, мужчиной, орлом.

— По ней мало кто ездит!

— Тем более! Только по ней, а? Зверэ!

Эмманет слабел, сдавался...

Вадим подарил Эмманету куртку, обещанную в прошлом году. Эмманет надел черную хрустящую куртку из кожзаменителя.

— Вот так идет колея, — сказал Эмманет и сделал шаг в сторону: — А вот так пропасть. Все время так. Триста километров...

Вадим вспомнил, как он приехал и в первый день поймал сорок форелей. Потом всю неделю шли дожди. И он уехал с этими сорока форелями.

— Едем! — сказал мой друг и топнул ногой. И надел очки. Его взгляд сразу стал твердым и холодным. В го-

рах прошли дожди — дорога расползалась под колесами...

— Резина лысая...

— Мы тоже лысые, вот смотри!..

Газик елозил на мокрой гальке, плыл по глине, и тормоза скрипели, пронизывали мозг как бормашина. Я с детства боюсь высоты. Не могу смотреть с балкона вниз — тянет. Я выбросил окурок, и он полетел в пропасть. Когда я стряхивал пепел, моя правая рука висела в пустоте, она прямо-таки замерзала! Вот дорога взлетает вверх, мы на гребне, а дальше — провал, пустота, но Эмманет круто выворачивает руль вправо, и мы, петляя, катимся вниз. Опять крутой поворот над пропастью и снова подъем. Взлетаем на гребень, инерция тянет машину вперед. Эмманет с открытым ртом выворачивает руль вправо, и мы летим вниз, дорога неровная, газик подбрасывает. Плавню входим в поворот, закладывает уши! Огибаем скалу, впереди — воздух, пустота. ...Мой друг закурил и близоруко улыбается, снял очки. Мы все чувствуем, что любое наше слово прозвучит фальшиво. Молчим. Опять жуткий, замораживающий душу спуск и поворот.

— Только на ослах или на лошади...

Слова Эмманета повисают в пустоте. Выплескивая из колес воду, огибаем скалу. Вписались и в этот поворот. Взлетаем вверх, летим вниз, дорога прямая — несколько минут счастья. Качели! Душа замирает, весело, сладко. Давно я так не любил жизнь. На повороте галька из-под задних колес летит в пропасть.

— Сколько мы едем?

Вадим смотрит на часы.

— Пятнадцать минут.

Кажется, что час... Крутой подъем. До гребня метров пятнадцать, десять... У меня в ладонях теплые чурки — угостил встречный чабан. Глухой удар по днищу, треск, открытые рты, пустые глаза, вой тормозов. Эм-

манет хватается за руль, как за раскаленный обруч, руль вырывается из рук, мы вылетаем из колеи и каким-то чудом опять попадаем в нее. Он сидит, упершись в педаль, словно хочет удержать газик. Руки вцепились в руль. Газик развернуло, его левое переднее колесо крутится, медленно крутится в воздухе. Стоим... Вылезаем из машины. Если бы рессора лопнула на спуске, скорость выбросила бы нас в ущелье.

Эмманету вылезти некуда, если он откроет дверь, то шагнет в пропасть. У Вадима на рубахе мокрое пятно в том месте, где солнечное сплетение.

— Эмманет, твоей дсвушке повезло, ха-ха...

Жалкий смешок виноватого.

Мой друг близоруко щурится. Сейчас у него маленькие жесткие глаза, несколько диких волос в бровях, на переносице красная вмятина от дужки очков. Мясистые губы криво улыбаются... Большой лоб в острых залысинах. Равнодушно смотрю на своего друга и говорю ему:

— В гробу ты красавцем выглядеть не будешь, так что живи как можно дольше.

Говорю это и чувствую, что улыбаюсь. И тут он меня, негодая, обнял, сжал и выдавил, выпустил из меня всю злобу...

Эмманет и Вадим пошли в поселок за рессорой.

Мы медленно ехали в темноте. Так было даже легче — ничего не видишь. Я чувствовал, что мы высоко в горах, уши заложило, как в воде. Мой друг спал. Ему снились кошмары, наверное, от недостатка кислорода.

...Из моря выступила скала. Вдруг она стала нагреваться и краснеть. Волны с шипением ударялись о скалу, и ее окутывал пар. А в черной воде плавали два акалангиста. Они нырнули и появились на поверхности,

держа под руки утопленника. Быстро-быстро заработали ластами и повисли с утопленником в воздухе. Облетели скалу и бросили его. Он с хохотом упал в воду... Мой друг проснулся и рассказал нам свой сон. Видно, мозг, расслабляясь во сне, освобождается от всякой несуровости, чтобы утром снова четко работать — соблюдать общую норму. Совсем как завод, у которого есть надежные фильтры и отстойники. Если завод расширяется, а фильтры старые, по реке плывет мертвая рыба. Грунтовые воды тайно разносят щелочи, мазут. И в Антарктиде в тканях у пингвинов обнаруживают ДДТ.

После свадьбы я приехал с женой на реку своего детства. Через несколько дней мы уехали. Поймаешь рыбу — и вся чешуя на ладони остается. В Карелии рыба сильная, резкая, а в Баркалабово, на Днепре, слабая — тянешь, как траву, как бумагу. Лучше ехать тысячу верст за живой рыбой, чем двадцать — за полудохлой...

В раскаленном автобусе было душно. Из Баркалабово я возвращался с пустым рюкзаком. Целый час мы тащились по маленькому городу. Единственную улицу запрудила похоронная процессия. В колонне ползущих машин была «Волга» с красным крестом. Какой-то парень выпил и разбился на мотоцикле. Водители боялись нажать на сирены, и даже машина «Скорой помощи» не решилась на это кощунство. Где-то кто-то задыхался и ждал врача. Я только вышел из больницы и поэтому задыхался вместе с ним... Мертвые не должны загораживать дорогу живым... Врач с чемоданчиком выскочил из «неотложки» и побежал.

...Эмманет нажал на клаксон, и я очнулся.

Вместе с рассветом навстречу потекли розово-грязные овцы. Мы оказались в середине стада.

— Первый чабан уже пропал за поворотом, а замыкающий пока еще не появился,— сказал Вадим.

Я не понимал, зачем он это говорит... Вдруг Вадим открыл дверцу, схватил барашка и бросил его в ноги. Появился чабан. Вадим приветствовал его правой рукой, а левая цепко держала барашка. Эмманет нажимал на клаксон. Чабан улыбался и кивал головой. Эмманет повернулся к нам и сказал о Вадиме:

— За целый год ничего нового не придумал.

Вадим гладил барашка. Эмманет обиделся и злобно сказал, что впереди плохая дорога, как будто до этого была хорошая. Мой друг с интересом смотрел на Вадима.

...Эмманет тормозит, и моя правая нога невольно давит на невидимый тормоз. Замечаю, что правая нога Вадима тоже «тормозит». Мы все повторяем движения Эмманета. Крутой поворот, слева — пропасть. Змеиный спуск, подъем, справа — пропасть. На дороге — ямы, залитые водой. Вокруг — горы, я уже не думаю о них; Эмманет непрерывно сигналист, в любую минуту из-за поворота может выскочить грузовик. Мы уже не существуем отдельно друг от друга. О барашке забыли. У нас одна дорога и одна опасность. У нас одинаковые движения и одни и те же слова: «Яма, поворот, тормоз, правее, осторожнее...»

Какое согласие, какое братство! Мы вместе с Эмманетом ведем машину, у нас одна воля, один мозг — газик переполнен нашими неслышными сигналами. Эмманету и в самом деле так легче.

После войны собирались во дворе, слушали баяниста, угощали друг друга картошкой в мундирах, жмыхом, бутербродами с патокой... Вдруг я совсем явственно услышал грустное танго послевоенных лет, словно сквозняком вытянуло из детства голоса, лица школьных друзей, черные соты развалин, рыжеволосую Еле-

ну, светло-холодные глаза Толи Иоффе, лодки, заваленные белыми сугробами бабочек-поденок, ларьки, овраги, пустыри...

Мы остановились передохнуть на небольшой каменной площадке. Внизу валялись уродливо-белые куски разбитого автобуса, а над нами висели огромные орлы. Они совсем не махали крыльями, делали едва заметные движения и взмывали, останавливались, снижались. Я слышал, как шумит воздух под ними,— так близко они парили. Это были настоящие орлы, крылья — метра три с лишним! А вокруг остро сверкали сиреневые вершины, и место было подходящим, чтобы плюнуть с этой ослепительной высоты на всю суету земную, но я боялся подойти к пропасти, а плевать из безопасного положения все равно, что фиги крутить в кармане. Мы пошли к машине. Эмманет спал. Сутки он ехал нам навстречу, ночью ждал нас на станции, сутки ехал с нами. Три дня он сидел за рулем. Вадим сменил его, но дорога начала крутить такие восьмерки, что уши заболели и ладони стали влажными. Эмманет опять сел за руль. И опять мы ехали в полуметре от пропасти. Я разозлился на своего друга — опять он спал!

Я везде пишу: мой друг... В этой невыдуманной хронике я не хочу называть его настоящим именем... Это его личная жизнь, а придумывать другое имя кажется мне неестественным. Вадим, например, имя вымышленное: ничто, кроме этой дороги, нас не связывает. А своего друга назвать Виктором или Борисом я не могу. Какой он Виктор?

Эмманет выругался и плюнул в пропасть. Нас выручил ведущий мост — газик на повороте выскочил из колеи, а сразу за поворотом начался крутой спуск, и машина пошла юзом.

— Под Калугой таксист врезался в столб, вытащили пассажиров — все в крови, стонут, охают, а в багажнике свинья хрюкает, цела и невредима. Мужик на телеге мимо проезжал, сплюнул, как Эмманет, и говорит: «Свинство, оно живуче...»

Опять заложило уши. Мы спускались с высоты двух тысяч метров.

Это он, Вадим, заманил нас сюда одним резким, холодным, выскальзывающим словом — форель! У этой рыбы есть и другое имя. Оно не так звонко плещется в горле, оно не такое хлесткое, но в нем больше напряжения. Оно стоит головой к светлой стремнине — стронга! Чувствую, как оно дрожит на струе!

Лицо Эмманета вдруг стало красивым — мы спустились в долину, напряжение спало. Мы ехали по доброй земле — зеленой и пологой. Открылось пламенное поле маков, и мы крикнули, наверное все вместе, словно маки обожгли нам глаза. Эмманет остановил машину. В каждой лиловой чашечке таились черные бархатные кресты.

Детство, три мушкетера, малиновая мантия кардинала, красное и черное, днепровские кручи, теплый песок... Разве все это было? Маки окружили нас, и мы шли по пояс в пламени. А теперь я спрашиваю: «Друг, разве были мы в долине, где цветут зангезурские маки? Разве на восточных базарах ты разламывал помидоры с белой изморозью на красной мякоти? Разве цыганки обжигали наши лица шелковыми платками? Разве мы сплевывали в пропасть косточки черешен, когда левое переднее колесо вертелось в воздухе? Если даже косточки этих черешен проросли, разве все это было? Разве были тучные и нежные альпийские луга, серые реки овец, купола зеленых от старости минаретов, выгнутая синяя сфера... Ты чему улыбаешься, друг? Может, ты вспомнил экскурсоводку, с которой однажды ехал в Пятигорск. «Любуйтесь, справа Эльбрус... Любуйтесь, вле-

реди Седло... С детских лет юный Мишель полюбил синие горы Кавказа... Приближаемся к месту дуэли...» Мордастый курортник деловито спросил: «Куда попала пуля?»

Почему я пишу об этой дороге? И чего ради мы пустились в этот путь? Ради того, чтобы поймать нескольких радужных форелей в озере, которое уже где-то рядом? Триста лет назад в Оке ловили рыбу руками и мед собирали прямо в лесу. Ничто так не заставляет человека беречь землю, как напоминания о недавнем изобилии природы. Если он знает, что было, и видит, что есть, он задумается о том, что будет. А если задумается, обязательно найдет выход. Это его великий и терпеливый разум сказал: «Дай мне силы стерпеть то, что я еще могут изменить».

— Один час буду спать,— сказал Эмманет.

В тени под чинарой мы расстелили одеяло. Вадим достал бутылку белого вина и сверток с жареной форелью, сыром, зеленью и лепешками. Мы все съели и выпили. Вадим предложил сыграть в шестьдесят шесть и обыграл сначала меня, потом моего друга. Я отдал деньги без жалости — в такой дороге нельзя выигрывать мелочь. Эмманет разговаривал во сне. Его родные слова звучали, как заклинания, но Вадим знал язык и перевел нам лепет Эмманета: «Запчасти, отпуск, зарплата за три месяца...» Сладко спал Эмманет, но мы разбудили его. Впереди был самый трудный участок дороги, и мы должны были преодолеть его до темноты.

Я залез в машину, сел, продумал каждое движение... Удар по ручке! Толчок левой ногой, и я на земле... Надо держать голову ниже. Я откинулся на сиденье; расслабился... Удар по ручке! Толчок! Падение. Десять раз я выпрыгнул через левую дверцу и десять раз через

правую из самых неудобных положений. Береженого бог бережет. Вадим и мой друг сначала улыбались, наблюдая за мной, потом подошли к машине и, давая мне советы, стали выпрыгивать влево, вправо... Мы посмотрели друг на друга и засмеялись... Мы проезжали какой-то поселок, и Эмманет купил нам на базаре розы... Три букета — Вадиму, моему другу и мне. Как человек Эмманет возвысился над жалкими условностями и стандартами жизни — мужчина дарит розы мужчине! Это нас умилило, но как шоферу я ему всецело уже не доверял. Он мог залюбоваться своими долинами, скалами, водопадами...

— Эмманет,— сказал мой друг,— ты велик, как Гораций.

— Кто такой?

— Это первый в мире поэт, который не испугался написать, что он трусил, бросил щит и бежал с поля боя. Видно, Гораций был очень смелым человеком и воином, если он написал такое.

Газик уже плыл по глине, и наши окурки, вращаясь, падали на дно ущелья. Я посмотрел на вздыбленные камни, трещины, зазубрины и вдруг почувствовал какое-то однообразие хаоса, какую-то непрерывную изломанную линию, несовершенную уже в долине и доведенную здесь до предела несовершенства. И чем мрачнее выглядели горы, чем уродливее торчали камни, тем гармоничнее казалась мне эта природа. Наконец-то я освоился в ней или искренне солгал себе, что освоился. Я посмотрел на голые заснеженные вершины и вспомнил слова колхозника, с которым ехал в автобусе. Он сказал:

— На голой правде ничего не растет...

Я почувствовал холод, когда увидел, что Вадим надевает свитер. Солнце еще не зашло, но из ущелий уже тянуло резкой свежестью, и меня познабливало. У каж-

дого камня, у каждой скалы появилась тень, и дорога стала еще опаснее.

Все-таки я заснул. Черт те что мне приснилось. Мы вошли в лес. Кто-то крикнул: «Осторожнее, все деревья подпилены». Это был страшный лес. Громадные сосны качались от жаркого ветра. Ветер дул все сильнее, и вороны с карканьем покидали медленно падающие деревья. А внизу метались лесники, подрядчики, снабженцы. Сосны давили их, калечили, оглушали, а из рупора на черном придорожном столбе звучал голос Некрасова: «Плакала Саша, как лес вырубали... сколько там было кудрявых берез». Ветер крутил столбы пыли, мелкий острый песок царапал лицо. Хотелось пить, но я не мог найти ни одного родника, а по реке плыл мазут, водовороты крутили дохлую плотву с раздутыми животами. Я спустился в овраг и увидел мертвую кошулю. Странно... Я перевернул ее. Куда же вошла пуля, дробь, картечь?.. Шкура была целая. Ни дырочки, ни засохшей кровинки. Справа под кустом что-то белело, какой-то порошок просыпался из порванного мешка. Вокруг него трава была бурой, а в лопухах чернели небольшие дырочки, как будто листья прожгли сигаретой.

Друг растолкал меня, сунул в зубы лепешку с сыром. Мы ехали рядом с пропастью. Черт возьми, я же не трус, откуда этот страх? Кажется, я понял, понял... Это не мой страх, не за себя. Вдруг вспомнилась Карелия, Энго-озеро... Мы шли на байдарках. В одной лодке был мальчик. Энго-озеро лежит в двадцати километрах от Белого моря. Узкий отрезок земли не задерживает ветра, он перепрыгивает его, как лошади пробный барьерчик. Шторм настиг нас в самом центре озера. Байдарки зарывались в ледяные волны. Больше пяти минут в этой воде никто бы не продержался. Спасательных поясов не было. Мы повернули к ближайшему острову, но ветер подул в лицо. Байдарку захлесты-

вало. Гребок продвигал лодку на полметра вперед, но, когда я поднимал весло, ветер упирался в лопасти и байдарка отходила на полметра назад. Мы гребли на месте. В лодке, где сидел мальчик, была та самая женщина, которая спрашивала: «Неужели так близко от Москвы...» Я рвал воду веслами, и во мне кипела злоба. Каждый день я им говорил: «Надо хотя бы волейбольные камеры надуть для мальчика». Они улыбались, светило солнце, голубая вода была неподвижной. «Вы, наверное, не умеете плавать», — сказала румяная дама. Она была упитанной, мосластой, аппетит у нее был отменный, на каждом кончике ее нерва лепилась капелька здорового жира, эти капельки амортизировали, предохраняли от холода, высоты, беды. Она не понимала опасности. Земля прочно стояла у нее под ногами. Ослепительная безмятежность окружала ее. Зачем надувать камеры? Все спокойно, все прекрасно.

Когда это началось, их лодка, набитая рюкзаками и продуктами, осела, вода уже попала в нее. Женщина оглянулась, от страха ее лицо было синим. Кажется, она впервые почувствовала непрочность бытия. Но об этом я потом уже подумал. Мы выгребли к островку, распороли о камень байдарку, злоба кипела во мне — а если бы рядом островка не оказалось? Под перевернутой байдаркой образуется воздушный пузырь. Он держит только одного человека. Во всяком случае, я бы на это место не претендовал. Я пловец, и я попытался бы сделать все, что в человеческих силах. Сильный погибает, слабый выживает — это был тот самый случай. Она бы спаслась, уж это точно.

«Не унижал меня черни презрительный хохот, осторожность она принимает за смелость лишь потому, что не знает законов охоты»¹. Это голос из шестна-

¹ Николай Гусовский. Песня о туре. 1523.

дцатого века. Герой убегает от разъяренного быка, чернь хохочет.

Страх над пропастью... Дело не в этой опасной дороге. Лес, река, мальчик в байдарке, любовь, семья, будущее... Не так уж все это прочно, все живое непрочное. Рядом все время бездна. Да, я боюсь, хотя я умею плавать, у меня хорошая реакция, резкий удар, сильное сердце. И все-таки я боюсь и не доверяю людям, которые ставят вазу на самый край стола. Они не понимают, что она может упасть...

Мой друг спал. Может быть, ему снилась наша львовская осень, холодный камень костелов, звон старинных часов на ратуше, субботняя служба, вздохи органа, воровские поцелуи в тени, склоненные хоругви, треск летящих листьев, стеариновый сквозняк, эхо шагов на каменном дне веселой гулкой ночи, три гвоздики у памятника Мицкевичу... Как часто мы думали об одном и том же. Сколько ночей мы украли у сна, понимая, что когда-нибудь у нас не будет сил так бурно встречать и провожать каждую минуту! Сколько сил потратили впустую, сколько мыслей не записали, выбросили на ветер, словно собирались жить на этой земле вечно! Друг мой, разве в те годы ты смог бы заснуть в метре от пропасти? Все ритуалы позади! Никакой притворной дрожи. И барашек давно в багажнике. И дорога наша ведет уже не на Оку и не на Сож...

— Смотрите!

Эмманет остановил машину, и мы увидели столб пара, он колыбался в темноте над круглой каменной впадиной. Она была метра два в длину и три — в ширину. Из расщелин шумно била вода, быстро заполняя естественную ванну.

— Наррззан,— сказал озябший Эмманет, словно провел кинжалом по бруску. Мы сорвали, сбросили одежду, холод сжал сердце, плюх, плюх, плюх!.. Мы

окунулись в теплую щекочущую воду, тело облепили пузыри воздуха, всё на земле, всё только здесь — и рай, и ад! Каждой клеткой тела я верил этой воде, этой непонятной изначальной силе. Вдруг она стала уходить в землю, чаша мелела на глазах. Мы выскочили из своей ванны и увидели нарзанный водопад, он хлестал рядом из скалы. Мы подставили под него спины, струя сбила меня с ног, мы упали друг на друга, захлебываясь хохотом и гремучей водой, и на миг я представил себя форелью, идущей против водопада, — мои мускулы и струи нарзана переплелись жгутом, невольно я нащупал руку моего друга и Вадима, мы одновременно нашли друг друга, чтобы устоять под водопадом, мы забыли размовку в дороге — в права вступили другие законы. Мы растерли друг друга полотенцами, оделись и за первым поворотом увидели огни высокогорного поселка, в котором нас ждали друзья Вадима.

По дороге в поселок мы догнали мальчика, он согнулся под тяжестью мокрой сети, увешанной свинцовыми шариками. Правая рука мальчика, красная от напряжения, цепко держала живой мешок с рыбой.

— Это Озиз, сын Ахмета, — сказал Вадим.

Озиз смущенно пожал нам руки, его пожатие было твердым. Весь он дышал юношеской силой и речной свежестью. В машине возник запах свежих огурцов — так пахнут только что пойманные ручьевые форели. Ахмет встретил нас во дворе. Мы поцеловались. Стол уже был накрыт. Пришли мужчины, соседи Ахмета.

Ахмет... Черная грудь под расстегнутой рубахой дышит, как пашня, ногти блестят, как валуны, изломанная линия переносицы словно продолжает линию горного хребта, брови висят, как орлы — будто не женщина, а сама земля родила его!

Я вымылся по пояс и попросил у Ахмета таз, чтобы

помыть ноги. Ахмет принес таз с водой, сел на корточки и, нисколько не смущаясь, помог мне помыть ноги! Что-то мы навсегда потеряли — он помыл мне ноги, а я чувствовал себя униженным... Он сделал это с таким человеческим и горским достоинством, что я растерялся. А что в этом плохого? Он помог путнику после трудной дороги. Ведь в бане мы не стесняемся мылить друг другу головы и спины. Нога, спина, не все ли равно? Что-то детское и великое было в его поступке.

Вошел огромный кудрявый парень и замср, робко подпирая потолок.

— Алеша, учитель...

Дети Ахмета стеснялись нас, особенно старший сын. Он перенес полиомиелит, следы этой болезни сделали его ум пылким и ущербным, подросток прятал за спину уродливую руку, его глаза дико сверкали, он с надеждой смотрел на нас, как будто мы могли ему помочь, он хотел нам что-то сказать и сдерживал себя. Мы подняли стаканы с вином. Ахмет, учитель Алеша, чабан, бригадир — забыл их имена, — Эмманет... кажется, еще кто-то был, не помню... Они смотрели на нас и улыбались. И мы улыбались им. Все терпеливо ждали, когда вино сделает свое дело. На зубах хрустела жареная форель. Мой друг сочно уплетал потроха барашка. Люблю смотреть, как он ест, люблю угостить его соленым рыжиком или вяленым хариусом. Уж он не спросит: «Какая это рыба?» Он в одно мгновение увидит и маленький жировой плавник, и неповторимое в своем роде верхнее хариусное перо. «Хариус!» — радостно скажет он. Ахмет приветствовал Вадима в своем доме, и мы выпили за нашего поводыря. Я даже не заметил, когда он надел костюм, накрахмаленную рубаху и галстук. Вадим в разговоре растягивает слова, как будто хочет выиграть время и что-то обдумать.

— Дорогой Ахмет! Я третий раз у тебя в гостях...

— Зря в такую даль три раза он ездить не будет,— шепнул мой друг.

Вадим заговорил на родном языке Ахмета, все смотрят на моего друга. Сейчас будем за него пить. Ага, я должен дополнить тост. Я встаю и говорю о том, что мой друг и в седле сидит, как джигит, и стрелок он хороший, и рыбу ловить и мясо жарить умеет, и в драке он крепок, а в дружбе нежен и в любви терпелив; он хороший отец, и сын у него хороший растет...

Я молча вспомнил, как однажды на крутом вираже дверца машины открылась и я уже подметал волосами асфальт, а сидели мы вдвоем на одном сиденье, ехали в фургончике, мой друг поймал меня и удержал на весу.

А что бы он делал без меня? С кем бы он аукался в баркалабовских борах, мерз на осенних болотах, с кем бы он так согласно и тревожно молчал у костра, коротая июньские ночи на берегах Сожа? Еловые лапы пружинили у нас под ребрами, и одной дрожью дрожали мы на холодной весенней земле.

— Ты родом откуда? — вдруг спросил Ахмет.

— Из Белоруссии.

Ахмет встревожился:

— Город?

— Могилев.

— Он сказал: «Могилев»... Вы слышали?.. Могилев! Я брал Могилев. Белорусский фронт. Я брал Могилев...— Ахмет заговорил сбивчиво, торопливо, словно боялся, что мы ему не поверим.— Там вырос?

— Там...

Ахмет поцеловал меня, словно я вернул ему что-то очень дорогое.

— Спасибо!

— Тебе спасибо, Ахмет.

Вдруг он запел:

— Выходила на берег Катюша...

— На широкий берег на крутой,— подтянули мы.
— Эх, дороги, пыль да туман,— пел Ахмет.
— Темная ночь, только пули свистят по стэпи,—
звенел голос Ахмета.

— Холодно,— сказал Ахмет и вытащил из шкафа
пиджак с орденскими планками.

Ахмет плохо говорил по-русски, но сколько песен
в тот вечер он спел и ни разу не сбился.

Мы выпили за Могилев, и Ахмет запел про Марусю,
про синий платочек, про полевую почту.

— А ты откуда?

— Из Калуги.

— А ну-ка, дай жизни, Калуга! — закричал Ахмет
и заметался по комнате.— Я дарю тебе вот это. А тебе
вот это.

Он совал нам свое ружье, нарды, отделанный сереб-
ром рог.

Он озибался в отчаянии и не находил, что он еще
может подарить. Мы приняли нарды и рог, я подарил
Ахмету электробритву. Вадим достал какие-то пакеты
и большие банки с чаем. Могилев... Прозвучало это
слово, и добро уцепилось за него, добро искало повода
раскрыться и нашло.

— Земляк,— сказал мне Ахмет.

— Все мы земляки,— сказал Вадим,— земля у всех
одна. Другой нет и не будет.

— Мы все земляки,— повторил учитель Алеша, и
чабан закивал... И вдруг как крикнет нам что-то на
своем языке — может, «братья», а может, «земляки» —
и пустился в пляс.

Я подошел к окну — тьма! Редкие звезды, холодные
горы. Было по-детски обидно и непонятно, почему на
одной-единственной земле, окруженной холодом и сла-
бым светом звезд, мы никак не можем понять, что мы —
земляки. Сегодня мы в гостях у Ахмета, завтра у Аши-
ра, послезавтра у Сейфудзина. Но мы забываем, что

мы живем в беспредельности. Конечно, нельзя все время чувствовать над собой беспредельное пространство, но и забывать о нем нельзя.

Стол отодвинули. Все плясали, кричали, целовались. А я устал. Я ем быстро и выпиваю свою норму за час, потом я тупею от еды, вина, тостов и уже бессмысленных откровений. Утром от них остается только кислый запах во рту. Я вышел во двор, из темноты зарычал огромный грязно-белый пес. Люблю русских сторожевых. Эти псы спят на холодной земле, на скалах, едят из корыта отруби, хлеб, картошку. Хотелось лечь рядом с этим псом, шерсть у него теплая, сразу согреет. И не только к тебе, даже в твой сон недоброе не пропустит. Я сел возле пса, обнял его. Пахло шерстью, навозом, лошадиной мочой. Правый бок согрелся, а ноги застыли. Я закрыл глаза. Песчаный берег отвесно уходит в воду. Распластав руки, мы лежим на горячем днепровском песке почти вертикально, как птицы на взлете. Любимый берег детства — дебрянский пляж! Живот, грудь, руки — на песке, а ноги в воде. Тело медленно, сладко и безвольно сползает в воду. Холодок сжимает ноги в щиколотках, ползет вверх, захватывает колени. Вода бежит между пальцев, щекочет подошвы. Половина тела в реке, половина — на берегу. Зной гладит спину. Голову напекло. Вдруг кто-то пробежит по отмели, обдаст брызгами, напрягутся тысячи нервов и сосудов. Однажды я попросил у отца денег. Он сказал: «Ты молод, здоров, да еще весна пришла. Этого достаточно. А если мало, ищи новые радости, их и без денег можно найти». И вот теперь вдруг соединились слова отца с воспоминанием об отвесном диком пляже... Ноги застыли и онемели. Я поднялся и пошел в дом, человек должен все-таки спать в тепле и в чистоте. Они еще пили, ели и пытались петь...

Я лежал с закрытыми глазами... Банкетный зал заполнили гости, на подоконнике выросла груда по-

дарков. Голоса шарахались, как летучие мыши. «Горько, горько!..» Потом зазвучала, так сказать, музыка, и под ее скачки седая румяная женщина в короткой юбке пустилась в пляс. Это была та самая женщина, которая, заглядывая в траншею, спрашивала: «Неужели так близко от Москвы была война?» В центре стола, рядом с розовощеким мальчиком, сидела дочь этой женщины, моя жена.

«Горько!» — крикнули гости, и мальчик поцеловал Марию.

Ахмет, он почему-то оказался среди гостей, крикнул музыкантам... Они надули щеки, по-жабьи выпучили глаза, ударник приветливо оскалился, и началось... Взвизгнул воздух, затряслись затянутые в парчу старухи. Женщина в короткой юбке не успевала подойти к столу, ее перехватывали на полдороге. Она плясала, кружилась, вихлялась беспрерывно. Ей не давали передохнуть, выпить, прожевать кусок. В конце концов, гости опьянели, устали и ушли. Но едва зал опустел, как появились новые гости, они принесли очень много дорогих подарков, и рядом с Марией возник на удивление стройный и румяный мальчик. «Горько!» — закричали гости. «Горько!» «Зверэ!» «Якши!» Захромала музыка, и седая женщина в короткой юбке; сверкая пуговками-глазками, пустилась в пляс. Как только она садилась за стол, ее снова приглашали на танец. Свекра сменяли его друзья и родственники. Она уже повисала на партнерах и дышала ртом. Музыканты выливали из мундштуков слюну, ударник безостановочно дубасил в свои тарелки и барабаны. Наконец гости разошлись, но из второй двери хлынули новые гости с мохеровыми одеялами, серебряными браслетами, набором хрусталя и старинного фарфора. А возле Марии появился прелестный белокурый юноша. Гости подняли бокалы. «Горько!» Музыканты вылили из труб слюну, и воздух затрясло, залихорадило от дробного ритма. Дама съежи-

лась, сжалась, но кто-то уже склонился с приглашением, подрагивая ляжкой от нетерпения. И она опять запрыгала, закуролесила, заколдыбала, задергалась. От лихорадочного дыхания кофта лопнула у нее на спине, язык вывалился, волосы летали по залу и опускались в тарелки гостей. Бледная Мария еле стояла на ногах. Наконец гости разошлись, уф!.. И тут же навалились с хохотом новые — румяные, полные силы. Все они были одеты в дубленки, у каждого бренчали в кармане ключи от собственных «Жигулей». Эти принесли на редкость роскошные подарки, а голубоглазый жених был лучше всех прежних. Я вышел из ресторана и огляделся. Вокруг были горы. Камень ожил, и передо мной возник Данте.

— Ад, чистилище и рай ты знаешь, — сказал поэт, — но ты еще не видел кладбище.

— Разве на том свете оно есть? Ты что-то путаешь...

— Сейчас увидишь.

Мы подошли к высокой стене.

Я залез на нее и подал руку Данте. Он был тяжелым, я с трудом втащил его наверх.

Дул холодный ветер, и длинные каменные волосы Данте шевелились.

— Смотри...

Лежа на стене, мы увидели равнину, погруженную в безрадостные сумерки. Ничего не цвело на этой серой земле, лишь ветер шевелил редкие, высохшие травинки.

От стены уныло тянулись однообразные холмики и надгробия без фамилий.

Даже даты не были проставлены. А дальше и холмиков не было — аккуратными рядами лежали одинаковые целлофановые мешочки с прахом.

— Кто здесь лежит?

— Никто.

— Как никто?

— Они жили в разные века, не делая ни зла, ни

добра. Они производили не больше, чем потребляли. Они помалкивали, ни во что не вмешивались и учили этому своих детей. Они были, но — их не было.

— Понимаю. Это жестоко, но справедливо.

— На нет и суда нет!

Где-то заржала лошадь. Все явственней плескалась вода, орали ослы, пахло хлебом.

— Тебя зовут жить, — сказал Данте.

Это был не сон. Я давно уже не спал...

Я открыл глаза и словно впервые увидел Вадима. Светлые глаза, веселые, но очень внимательные. Детский, чуть вздернутый нос. Нежные женские уши и крепкий мужской подбородок. Он говорил с Ахметом на его языке и, улыбаясь, поглядывал на меня.

— Мы дали тебе поспать...

Он стоял, расставив ноги, сильный, цепкий, пахнувший лосьоном, аккуратно выбритый, причесанный — полиглот, практик, человек дела. Что бы мы смогли без него? Он держал в руках список, ставил крестики и повторял: «Зверэ!» Вокруг него лежали ящики, мешки, бидоны. Он рано проснулся, поднял необходимых людей, и они принесли все, что он просил у них. Я не любил его и любовался им. Ахмет и его друзья ждали нас во дворе.

Мы быстро нагрузили лошадей ящиками с хлебом, рисом, солью, сахаром, чаем, сыром. На ослов взвалили вязанки горного дуба, бидоны с керосином, палатку, раскладушки, одеяла, матрасы, рюкзаки, ружья. Щелкнули бичи, эхо полетело в розовые утренние горы. Караван двинулся. Мы сели в газик. До перевала дорога бежала холмами. Прошли сильные дожди, газик, как глиссер, разбрасывал волны, скользил и вертелся на мокрой траве. Мы с трудом одолевали небольшие подъемы — руль вырывался из рук Эмманета. Он вел маши-

ну широкими зигзагами — километр пути продвигал нас на двести метров вперед. Из-под колес вырастали желтые фонтаны воды, иногда мы пять—десять минут ехали в беспрерывном водяном коридоре. Дорога кончилась, и мы поехали по синим незабудковым лугам, нас укачивали холмы и опьяняли цветы. Облака и овечьи отары безучастно двигались нам навстречу. Наконец мы уткнулись в перевал. Газик взлетел на крутом склоне, завыл, замер, затрясся и бессильно попятился в долину. Эмманет выразительно глянул на нас, и Ахмет так посмотрел, словно был виноват перед нами. Мы попрощались и пошли в горы.

Сразу стало холодно. Сначала ветер остудил лицо, потом грудь, живот, колени — мы входили на открытую высоту. Сыпанул град, я повернулся к нему спиной — две маленькие фигурки преданно чернели у подножия зеленых гор. Под подошвами, как живые, ворочались мокрые камни. Вадим шел впереди не оглядываясь. У него на голове появилась шерстяная шапочка — все предусмотрел. От холода у меня заболели уши. Сердце бухало, как бадья в колоде. На руках вздулись вены. Я накрыл голову курткой, но холод охватил спину, и я одернул куртку вниз. Небо стало серым, подвижным: ветер воронками вертелся в ушах, ноги еле двигались, я засмеялся и услышал какой-то чужой низкий голос. Надо написать отцу письмо. Выслать ему шерстяные носки, хорошо бы меховую безрукавку, растворимый кофе... А матери — шерстяную кофту и плащ... Идти и дышать было все труднее, и я понял старость... Теплую одежду я оставил в рюкзаке. Все сильнее болела голова. Но я тоже не из тех, кто пропадает безвольно. Я снял шерстяные носки, обмотал ими голову, натянул сверху целлофановый пакет, и голова согрелась.

Я почувствовал радость первобытного человека. Мой

друг и Вадим ушли вперед. Сначала я обиделся, но потом подумал, что это — уважение, они верили в меня, в мои силы. И я снова поверил в себя, хотя пережил тяжелую зиму и часто болел. На гребне перевала блестяли камни, оправленные в лед, пахло снегом. В бурных ущельях мрачно витали испарения. Внизу я увидел озеро, заштопанное осокой, на рябой воде качались сотни зелено-белых селезней. Я почему-то сразу понял, что это другое, не наше озеро. Мой друг и Вадим были далеко внизу. Ноги скользили по заиндевелой траве. А в расщелинах бежала прозрачная снеговая вода. Я лег на камни, уперся рукой в твердое дно ручья — кость сразу заныла от холода. Я напился талой воды, и зубы зашлись. Я обошел скалу и увидел внизу наше озеро, зубы еще ныли, и я физически почувствовал, какая в нем ледяная вода! Озеро лежало в каменной чаше, окруженной узкой полоской альпийского луга. Синяя вода, зеленая полоса луга и дальше, выше — белый блеск вечных снегов. Ни деревца, ни кустика. С гор прямо в озеро бежали синие ручьи незабудок. Кое-где снег стоял, сбежал, и русла ручьев заросли цветами. В воздухе стоял тонкий и крепкий запах меда. Мой друг выстрелил, приветствуя наше озеро. Вадим, наверное, крикнул «зверэ», они обнялись, замахали руками. Снежная пыль повисла в воздухе возле отвесной скалы. Нас окружали горы и вечность.

Вечером пришел наш караван. Друзья Ахмета ловко разбили палатку, освежевали барашка, разожгли костер. И тут появились Садрак и Андроник. Если все-таки люди после смерти превращаются в цветы, в птиц, в зверей, то и звери могут после смерти превращаться в людей. Наверное, барс и лиса когда-то издохли в этих горах. Через сотни лет вода, тепло, тлен, свет соединились, и воскресло, возникло перед нами в обликах

Андроника и Садрака — как мы потом поняли — содружество лисы и барса. Худой, верткий Андроник и высокий, мягко ступающий Садрак подошли к нашему костру, вежливо поздоровались. Пламя осветило острое личико Андроника и черное плавно-жесткое лицо Садрака. Он молча сел, прикрыл глаза и стал еще больше похож на чутко спящего, сытого барса.

Андроник, жалобно кашляя, что-то сказал Вадиму. Наши проводники насторожились. Вадим напрягся. Андроник, приветливо улыбаясь, спросил:

— Лодку привез?

Вадим обнял его и Садрака, налил им по стакану вина. Они равнодушно выпили. Вадим развязал рюкзак, вытащил старую резиновую лодку, несколько коробок чая и какие-то пакеты. Садрак подмял под себя лодку и сел. Вадим и Андроник о чем-то заспорили.

— Они сторожа,— сказал мне учитель Алеша,— больше трех форелей в день ловить не разрешают.

— Разве это озеро заповедное?

— Нет.

— У нас есть лицензия.

— А им наплевать. Сами промышляют, а другим не дают.

— А что говорит Вадим?

— Он обещает им сапоги, спиннинги и патроны, когда вы будете уезжать.

— А что говорит Садрак?

— Разрешил ловить пять форелей каждому.

— Но ведь спиннингами ловить можно.

— Им ничего не докажешь.

Когда мы собирались сюда, о Садраке и Андронике Вадим не сказал нам. Боялся отпугнуть. Вадим что-то шепнул Садраку. Садрак наморщился, как барс, и рявкнул на Андроника. Андроник ответил ему хриплым лисьим лаем. Содружество рушилось! Затравленно озираясь, Андроник увидел на лодке заплаты. Он стал ты-

кать в них пальцем, глядя на Садрака. Андроник небрежно отшвырнул лодку ногой, она перевернулась, все днище было в заплатках.

— Утонешь,— сказал Андроник и подавился кашлем. Садрак с презрением посмотрел на Вадима.

— Тьфу!

И пошел к своей лошади.

— Эй!

Алеша сорвался с места, наши проводники обступили Садрака и Андроника. Все закричали, заспорили и вдруг притихли.

— Они гости Ахмета,— сказал Алеша,— разве ты обидишь гостей, Садрак?

— Лодка вся в дырках...

— Зачем тебе лодка? Они гости Ахмета. Ахмет даст вам барана. Я могу дать еще одного барана.

— Дай овцу,— сказал Андроник.

— Хорошо, приезжай хоть завтра.

Вадим переводил мне их разговор.

— И я дам барана.

Кудрявый парень с золотыми зубами насмешливо глядел на Садрака.

— Мне,— быстро сказал Садрак.

— И я тоже дам барана.

— Мне,— крикнул Андроник.

— И у меня возьми!

— И у меня!

Садрак и Андроник растерялись. И вдруг все как захохочут. И Садрак, и наши проводники, и Алеша, и Андроник. Садрак махнул рукой, мол, ваша взяла, Андроник вздохнул, вернулся, прихватил лодку. Наши проводники сели на лошадей. Кто-то выстрелил на прощанье, всадники обогнули озеро и скрылись за перевалом. Несколько минут мы бессильно сидели на ящиках и смотрели на голубое озеро, окруженное горами. На воде лежали извилистые белые дорожки — снега от-

ражали вечерний свет. Наша палатка стояла на скалах, место неудобное, зато неприступное, к нему вела только одна тропа — огибающая озеро. Пахло медом и снегом. И тут начали «взрываться» форели — одна, вторая, потом сразу несколько.... Они не выплескивались, они оглушительно взрывали воду — огромные, пятнистые, матовые рыбы с оранжевыми флажками на спине! Мы лихорадочно наладили спиннинги. Вадим заговорил четко, твердо:

— Ловим в трех разных местах. Не сближаемся. Рыбу под камни. Главное — блесну вести очень медленно. Вода ледяная. Рыба стоит в оцепенении. Как только появляется Садрак или Андроник, катушку крутите быстрее, поклевки не будет. Берет на самых дальних забросах — шестьдесят—семьдесят метров. Я видел, ты, не оглядываясь, через голову попадаешь блесной в камень, ты — мастер. Зверэ! — Моему другу: — Ты тоже — зверэ! Поэтому никаких соревнований. Мы не дети. Теперь мы — монолит! А? Соль в ящике под моей раскладушкой. Целлофановые мешки у меня в чемодане. Потроха — в яму, сверху закрываем дерном, чтобы мухи не собирались. Я хотел, чтобы вы поддержали эту рыбу на согнутом удище! Она очень сильная, ломает якоря, рвет леску. Зверэ! Берегите удища. Все! Пошли.

Форель взорвалась в нескольких метрах от берега. Она звала, дразнила. Вадим все рассчитал правильно. Теперь уже ничто не могло удержать нас, мы шли, бежали по тропе, огибающей озеро. Сколько лет я и мой друг мечтали об этой форели. И вот, кажется, дорвались. Я старался не думать о ней, ничего не представлять, не воображать, чтобы не обокрасть себя заранее. Я оглянулся — детская улыбка блуждала на лице моего друга, стекла его очков стали золотыми, он шел, как

блаженный, как слепой... Он прихрамывал и отстал от нас. Перед этим Вадим натер ногу и попросил у меня кеды. Я примерил его кеды — правый жмет... У всех был один размер. Вадим предложил всем разуться и составить подходящие пары. Форель взрывалась, по воде шли широкие круги. Кеды перепутались, лихорадочно переобуваясь, мы выдернули шнурки, никто уже не знал, где чья обувь. «Это мой», «Нет, этот мой, а вот это твой», «Я только что надевал этот», «Тогда возьми вот этот», «А ты дай мне свой, нет, не левый, правый, а ты отдай ему свой правый...»

Форель звонко шлепнула хвостом, и еще одна хлопбыстнула метрах в тридцати от берега.

— Теряем время,— сказал Вадим.

Моему другу надоели все эти манипуляции с кедрами, он улыбнулся и вышел из игры. Теперь он хро-мал. Вадим, не останавливаясь, посоветовал ему снять шерстяные носки или выбросить прокладки. Он легко прыгал по скользким камням. Я замедлил шаг. Тропу пересек ручей, с гор бежала снеговая вода. Я лег на плоский холодный валун, зачерпнул воду ладонями — пальцы онемели. Подержал во рту, согрел, проглотил. Здесь нельзя болеть, все нужно делать осторожно. Я был почти счастлив, но я знал, что счастливые чаще попадают в беду. Возле ручья на глине я увидел следы медведя. Вытащил из кармана малокалиберный наган и проверил предохранитель. Садрак сказал, что недавно на пастуха прыгнул старый барс, пастух убил его дубинкой. Эта хлопушка не спасет, но отпугнуть может. Мой друг уже делал забросы. Он и Вадим пошли вправо, там вдоль берега тянется глубина, а я пошел влево, хотя знал, что мое место хуже. Как только я увидел это озеро, я сразу приметил их место. И блесны у Вадима уже проверенные. Но я сам подбираю блесны, сам ищу места. Форель — рыба очень осторожная. Я не хвастаюсь, но я умею брать ее не хуже, чем Ван Клиберн

свои гаммы. И все-таки я не был уверен в удаче. Я достал из легкого футляра хрустальную подвеску от люстры — узкую, шестигранную, в виде вытянутого ромба. В ее отверстие я продел кольцо и нацепил крупный, иссиня-черный тройник. Колючая сталь жестко спружинила, от нетерпения я поцарапал палец, выступила кровь. Хотелось поскорее послать блесну туда, где вскидывались форели и оранжевые плавники чертили, рассекали воду, но я положил спиннинг на камни, достал из сумки бутылочку с йодом, прижег ранку. Беда любит счастливых, надо быть осторожным. Счастливые — слепые.

...Форель так ударила по блесне, что меня затрясло, как будто я схватился мокрой рукой за оборванный оголенный провод.

Лицо горело, и волосы на голове шевелились. Я повторял одно слово: «Иди, иди, иди, иди...» Я все забыл! Ни о чем не подумал. И в сознании вспыхивал только один тревожный сигнал: она! Радужная... Чуть ли не с первого заброса. Сильная! Фиберглассовое удилище пружинит, скрипит. «Иди, иди, иди!» Я выволок ее на галечную отмель, сжал ей жабры и почувствовал ее холодное мускулистое тело, она рванулась и выскользнула, я опять схватил ее за голову, прижал к гальке, она вырвалась, якорь распорол мне ладонь... Я на леске оттащил ее подальше от воды. Вся в фиолетовых и оранжевых горошинах! Она так ударила хвостом, что галька брызнула. Я не мог сжать ее жабры — такая она была сильная и скользкая. Руки дрожали. Я быстро прижег йодом глубокую царапину, сел, закурил. Прицепится какая-нибудь чушь, и никак от нее не отвяжешься. «Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю...» Или это: «Помнишь, мама моя, как девчонку чужую...» Неразборчивая память детства. На высоком берегу Днепра, в парке Горького, крутили пластинки. Тогда мы ловили рыбу прямо под городом, с

моста, с речных плетней, под канатной дорогой и даже возле завода.

Я достал форель из сумки и залюбовался контурами. Потом спрятал форель в холщовый мешок. Теперь я знал, что поймаю много, и не торопился.

...Мария стояла на том берегу Днепра и отжимала мокрые волосы. Между нами по реке плыла мертвая рыба.

Как тревожно пахли в детстве речные обрывы, как знобило луга от полуденных ветров!..

Я надел свитер, от скал тянуло холодом. Солнце спряталось на несколько минут, и спина сразу озябла.

...Серенькое днепровское утро. Белые груды отлетавшей поденки. Миллионы мертвых бабочек, растертых сапогами и колесами,— булыжная улица словно забрызгана известью. Сырой, сладкий запах торфяной земли. Я копал червей возле колонки и сквозь тонкую ограду видел, как девушка мыла в тазу ноги. Мне даже понравилось несовершенство смуглых линий, возможно, то было первое приятие жизни такой, какая она есть, с изъянами, с ее прекрасными огрехами и недоделками. Это было в детстве, когда еще можно было пить воду прямо из реки.

Что наши спиннинги? Даже сетями не изведут эту форель. Каждую осень она мечет десятки тысяч икринок, и, если вода чистая, семь процентов выживают. Форель любит чистоту и холод. «Кстати, замечено мною, что зверь неуклонно силу теряет и рыба в реке пропадает, если хозяин ведет себя слишком стесненно, вдруг почему-то ловить и стрелять забывает!»¹ Это голос из шестнадцатого века.

...Я копал червей, а девушка мыла ноги в тазу, она высоко подняла платье и подоткнула подол за пояс. Я с восхищением смотрел на нее. А потом я стоял на

¹ Николай Гусовский. Песня о туре.

плетне. От головки речного плетня бежала струя — резак. Ниже на плесе бил жерех. Я сделал заброс, и жерех грозно остановил блесну. Удилище спружинило, я вскрикнул от неожиданности, потому что я не надеялся на поклевку. Я был один и понял, что сам должен действовать и думать. Он вылетал из воды — я отпускал леску. Я держал его голову наверху, чтобы он наглотался воздуха и ослабел. Он тряс головой, чтобы освободиться от блесны. Я тотчас давал ему уйти в глубину, ни на секунду не ослабляя леску. Он был огромен и великолепен, его линии я запомнил на всю жизнь. На нем не было красных пятен и язвочек, от него не отставала чешуя, от него не пахло ни керосином, ни одеколоном, от него пахло рекой — вечной свежестью! Я выволок его на песок, отбросил спиннинг, упал на него плашмя, ловко просунул растопыренные пальцы под холодные жабры. И когда он упруго бился подо мной и выскальзывал из-под меня, а я опять накрывал его своим дрожащим телом, — берег расплылся, в глаза зарябила зеленая ограда и смуглые ноги в тазу... И я смутно понял, что такое любовь... Сердце еле билось, я бессильно сидел на песке... Я люблю песок, хотя на нем растут только ивы, его даже землей назвать нельзя — он движется. В песках мне всегда грустно, кого-то жалко...

Форель еще билась в сумке, я поднял мокрую живую ношу — она тяжело оттянула руку. Я обошел скалы и сделал заброс. Форель ударила и с блесной во рту вылетела из воды! И так же быстро мелькнула мысль: чем сильнее радость, тем острее отчаяние... Прошло время чистых радостей — без горького привкуса, без жалости к себе, отцу, матери, брату, другу... Я поймал еще две форели, одну крупную. Она вытянула из меня все нервы... Садрак и Андроник «вышли» на меня и, улыбаясь, конфисковали эту форель. Для начала я решил уступить.

— Самка,— причмокивая, сказал Андроник.

Я не ответил. Я его не вижу и не слышу. Только так. Прыгая по острым камням, обошел озеро. Оно было километра два с половиной в длину и километра два в ширину, но форелей в нем было столько, что негде блесне упасть! Мой друг, вскрикивая, выволок огромную форель, бросил спиннинг, подпрыгнул, побежал к Вадиму, обнял его, поцеловал, бессильно сел на камень... «Что делается, что делается, обидно, никто нам не поверит»,— бормотал он.

Форели — тяжелые и литые, как снаряды,— лежали на снегу под скалой.

Мы сложили рыбу в мешок, мой друг взвалил его на спину.

— Не верю, не верю...— повторял он и оглядывался. Вдруг притих, погрузился.

Возле ручья мы остановились. Вадим выпотрошил первую форель. Мясо было ярко-оранжевым, почти прозрачным от жира. Мы присыпали его солью и тут же съели по куску. Оно таяло во рту. Мы хлебнули ледяной воды и обнялись. Я поцеловал Вадима и сказал ему:

— Спасибо тебе за это озеро.

Мы все еще не верили своим глазам, мы вынимали из мешка форелей, они выскальзывали из рук и тяжело падали в траву.

— Ты посмотри, какие линии, какое совершенство формы, какая рыба, какие краски, как сопротивляется, у меня два тройника сломала. А воздух? Мед! Никуда отсюда не поеду,— кричал мой друг.

Он искренне говорил все это, как женщина, в которой что-то всколыхнулось на один час, и она кричит глазами: «Люблю». А утром молча уходит или так же искренне говорит: «Не люблю». Вадим забрал у моего друга мешок! Понес, покачиваясь, аж шея покраснела.

— Стой!

Я отложил несколько форелей в сумку, чтобы ему было легче. Мой друг забрал у меня сумку. Шепнул: «Не растревожь свою язву...» Мы еле тащились, все-таки три тысячи над уровнем моря.

Под луной сверкали снега, и на воде лежали их белые тени. Холод пришел так быстро, что мы не успели к нему приспособиться. Заныло сердце. Даже в спальном мешке меня знобило. Мешки мы положили на раскладушки. Горы уже остыли, и в нашем распадке стало как в погребе. Даже не верилось, что днем было градусов тридцать. Мой друг сразу заснул. Я и Вадим тихо переговаривались.

— У тебя баб много было?

Я весело солгал:

— Много!

— А как ты с ними? Такой же, как с мужиками, ну, гордый, резкий, или на жалость берешь? Какая блесна?

И тут меня понесло, как будто рессора лопнула. Понесло, как на лодке перед порогом, а я еще подгоняю веслами! И вспомнился Ашир, тот самый мальчик, который доказывал другому, что он нечаянно упустил стрижа... Чем хуже, тем лучше! Почему, зачем? Я сам еще не знал.

— Ты их понимаешь? — тревожно спросил Вадим.

— Понимаю.

— Расскажи интересный случай, а я чайк сгрею.

Он вынырнул из спального мешка и разжег керогаз.

— Рассказывай!

Его била дрожь, от холода конечно.

И я начал:

— Я ехал в общем вагоне из Москвы в Оршу. Интуристы шли в ресторан. Одна полька посмотрела на меня и влюбилась.

— Сразу?

- Да, сразу.
- Ну, а как ты понял, что она влюбилась?
- Почувствовал, в воздухе была какая-то грусть, снег на откосах таял...
- Зверэ! Ну, рассказывай!
- Нет, это длинная история, я тебе другую расскажу, покороче.
- ...Не верь, Ашир, не верь...
- Я пришел к другу. Он сбегал в магазин, купил вино, конфеты. Говорит: «Придет одна девушка, ты с ней посиди, вот вам вино, чтобы не скучали. А я на худсовет. Скоро вернусь». Он ушел. Потом она пришла.
- Какая?
- Стеснительная, угловатая, глаза влажные, туманно-голубые.
- Зверэ!
- Мы вино выпили и уехали к ней. А он ночью звонил, кричал: «Я знаю, ты не одна, ты с ним».
- И что она?
- Она сказала: «Ой как интересно».
- Понимаю. Мы ведь благороднее их, а?
- Еще бы. Сплошное благородство.
- Проснулся мой друг, закурил.
- Он говорит, что мы благороднее женщин,— сказал ему Вадим.
- Это ты говоришь.
- Не все ли равно, это мы говорим. Они ближе к природе, да?
- Дикую природу они не понимают. Это точно. В лесочке им хорошо, а в тайге, например, скучно...
- Да, здесь они бы просто мучались. Моря нет, песка нет, ларьков с конфетами нет. Я сюда Свету привез, она увяла на второй день. Расскажи еще что-нибудь...
- Бунин часто писал, что не понимает их. Вроде бы они и не люди, а какие-то особые существа. А Толстой? У него спросили: «Что вы думаете о них?» Он от-

ветил: «Когда умирать буду, все о них скажу и быстро захлопну крышку».

— И Чехов? — с надеждой спросил Вадим.

— И Чехов. Все классики!..

Вадим лежал с закрытыми глазами. Думал о чем-то и тонко улыбался. Он понял, что мы вступили в игру, и я был почти уверен, что знаю, о чем он думает: «Пусть это игра, но как далеко вы можете зайти?» Он решил «расколоть» меня со звоном. И я решил «расколоться»!

— Курица не птица... Баба с возу... А про мужиков таких пословиц нет.

— Точно нету?

— Точно. Я все сборники специально перелистал — ни одной!

— И поэзию они не понимают,— коварно сказал Вадим.

Я подыграл:

— Согласен! Помнишь, как об этом писал Пушкин? Дословно я не знаю. Примерно так: жалуются, что наши женщины не любят поэзию. И объясняют это тем, что они плохо знают родной язык. Но какая женщина не поймет стихов Жуковского или Вяземского? Природа, наделив их умом тончайшим, едва ли не лишила чувства прекрасного. Послушайте, как они поют романсы, как искажают ритм, теряют рифму, исключения редки...

— Безобразие,— промычал мой друг.

— И Восьмое марта надо отменить,— шепотом сказал Вадим.

— Ура!

— Девятого войдешь в магазин — мужики стоят в очереди, а жены их пасут. И одна другой: «С пьashedшеньким»... «С пьashedшеньким».

— А молочные продукты вчерашним числом помещены.

— Из-за них!

— А как же, гуляют. «Поздъявь меня». — «И ты меня поздъявь». — «Поздъявляю». — «Поздъявляю». — «Что он тебе купил?» — «А тебе?» — «Большую? А за сколько? Ну пока, с пьashedеньким....» И пошла поливать своего за то, что он ей за столько не купил... — Вадим шепелявил со смаком, со змеиным свистом.

— Что же делать? Лучше всего вечером седьмого вводить себе солидную дозу снотворного и через три дня просыпаться... — сказал мой друг.

Смех душил меня. До крови прикусил губу — не помогло. Стал щипать и выкручивать левый указательный палец. Правый мне нужен для спиннингования. Мой друг трясется с открытым ртом.

Одно я знал точно — однажды Вадим обжегся и навсегда сделал выводы: «Что-то здесь не так, задаром не беру...»

— Один философ...

— Да...

— Чайку налей.

— Что он сказал?

— Чайку, пожалуйста, налей. Не делай чефир, спасибо. Один философ сказал о них точные слова. Ничего мудрее я не читал.

— Что он сказал?

Вадим держал палец во рту и давился от счастливого хохота. Он все понимал и все-таки жадно заглатывал каждое слово.

— Подкинь сахарку. Спасибо. Так вот, он сказал...

— Какой философ?

— Монтень, кажется, нет, потом вспомню. Он сказал, что никто им до раскрепощения — он имел в виду французских аристократок, — никто им не мешал заниматься наукой, литературой, живописью. Сами не хотели. Ну, а кто им не давал ставить опыты, писать, рисовать?

— Зверэ! Умница. Вот копнул, а? Вспомни, кто же это?

— И готовить они не умеют. Кулинарное искусство остановилось. Хорошее мясо обязательно испортят. Делают как попало — тяп-ляп-шлеп... Фантазии не хватает.

Мой друг бился в истерическом хохоте, он хрюкал, стонал, булькал, плакал, тряс головой. Сел, подергал челюсть — онемела от смеха. Напился чаю. Закурил. На мгновение мы притихли. Небо светлело.

— Он с нами не согласен, — ехидно сказал Вадим.

— Вечную тему обглаживаете, шакалы.

Друг подмигнул мне: мол, давай взбодри пламя, но мне вдруг все это сразу надоело. В палатку смотрело небо. Остывшие за ночь камни подпирали спину холодом.

Но Вадим не унимался:

— Расскажи еще какой-нибудь случай...

— Надо поспать, мы не сможем ловить.

— Утром здесь она не берет, стоит в оцепенении, пока озеро сверху не прогреется.

Боль просверлила голову. Видно, я передержал во рту снеговую воду, заболел зуб. Все равно не засну...

— Однажды в юности познакомился я с дочерью маршала. Привела домой. Маршал оказался рыбаком, поговорили о живом деле. Выпили. Он мне шепчет: «Женись на ней, надоела она мне». Вспомнили весенние разливы, вылеты бабочек-поденок, ловлю нахлыстом, ловлю на майского жука, ловлю на стрекозу — в тюкалку... Он шепчет: «Не женись на ней, другой дурак найдется». Я ему о себе рассказал. «Не женись. Твоя дорога в гору, надорвешься с этой куклой».

— Вот мужик, а? Зверэ!

— А теща так не скажет.

— Никогда! Нет, мы все-таки лучше их.

— Еще бы!

— А дочь, какая она из себя?

— Милая, стройная, энергичная. Лжет, а глаза чистые-чистые.

— Вижу!

Боль опять прострелила голову, десна опухла...

Где сейчас твой стриж, Ашир? Забился в свое гнездо. Хорошо, если оно в скалах или на голом обрыве. А если под крышей или в щели какого-нибудь сарая леска запуталась за кусты, ночной ветер дергает ее и крючок берedit рану?

— У тебя есть анальгин?

Вадим достал из чемодана анальгин.

Прости меня, Ашир! И с полькой, и с дочерью маршала все было не так. Чай остыл. Холодно. Рыба не испортится, подумал я, засыпая.

— Они ведь и дружить не могут,— шепнул Вадим,— одна другую готова сожрать. А на людях целуются, воркуют. Вот ты бы смог с женой друга?

— Нет. Просто так — нет.

— И я не смогу.

— А они запросто. Отбить мужа у подружки — радость.

— Зверэ! Нельзя им доверять, а?

Я проснулся от духоты. В палатке звенел зной. Вылез, оглянулся, ничего не понимая,— горы, снег, запах меда, груды форелей. Мой друг и Вадим потрошат рыбу, протирают ее оранжевые бока солью. Тушки укладывают в большой целлофановый мешок.

— Помогай!

Я аккуратно срезал дерн, выкопал ямку, сгреб в нее лопатой потроха, засыпал землей, заложил дерном. Мы поели рыбы, выпили чаю. От жары и высоты почувствовали вялость. Задыхаясь, снял свитер, теплое белье. Зашло за тучу солнце — через минуту стало холодно. Надел куртку. Выглянуло солнце — снял куртку. Вдруг

все завертелось, зазвенело, и я на коленях, как на ринге...

— Надень шапку! — кричит Вадим.

Сунулся в палатку, а там как в парилке. Это был солнечный удар. Я шел по воздуху и смеялся, как дурак, Вадим достал бинокль.

— На озере никого нет!

Мы, не сговариваясь, взяли спиннинги. Целлофановый мешок с рыбой поставили в тенистую расщелину скалы. Обидно, Садрак и Андроник браконьеры, ловят сетью, а мы, спиннингисты, от них прячемся. Пока доберешься до их начальства — город далеко, ловить будет некогда.

— Мы ловим, ты наблюдаешь сверху. Поглядывай на гребень, через час меняемся.

Я взял куртку, наган, сумку с блеснами и аптечкой, мешок для рыбы. Они уже прыгали по камням. Я задержался возле ручья, намочил голову, напился — челюсть заныла. Цыплятам ставят два блюда — со снеговой водой и водопроводной. Водопроводную они не пьют, а из-за снеговой дерутся. У птиц нет родины, весной их зовет талая вода. Опять заныл зуб... Где-то летает стриж, с крючком в клюве. Под кедрами скрипел лиловый снег. Я посидел в тени небольшого камня, ноги замерзли, а голову напекло.

— Вот она! — хрипло-быстро-радостный голос друга.

Он подстегнул меня. Хотелось забросить блесну и почувствовать, как форель вырывает из рук удилище. Мой друг снял с крючка килограммовую форель, поцеловал ее и отпустил. Что-то загадал. У Вадима одна сошла почти на берегу, он не успел ее схватить и крикнул ей вслед: «Живи!» Мы засмеялись. Вадим засмеялся первый. Молодец, он знает себя! Следующую он демонстративно отпустил из рук.

— Торопитесь, скоро появится Андроник.

Засвистели блесны! Мой друг бросал с разбега, всем

телом. Серебряный ромбик сверкал высоко над озером и падал метрах в шестидесяти от берега.

— Есть!

— Есть!

И Вадим, и мой друг тащат форелей — одновременно!

Обе форели вылетают из воды, делают свечки, куврыкаются. Шесть, семь, восемь, девять свечек... Сбегаю вниз, достаю из сумки друга фотоаппарат.

— Подержи ее на леске...

Навожу на резкость, снимаю форель в полете! Друг плавным рывком выбросил ее на галечный берег, она ударила хвостом по камню, взлетела, шлепнулась плашмя, и по ее телу пробежала лиловая судорога. Ее глаза потускнели. Мой друг замер, прилег на спину, и мы увидели ее мраморное брюхо...

Я знаю, о чем вы думаете, мадам. Неужели вам ее не жалко?

А вы не едите рыбу? Лососину? А мясо? Вы такая упитанная, неужели это от вегетарианской пищи? Вчера на обед у вас была жареная свинина. Вашу свинку тоже оглушили. И телятина с неба не падает. Это сделал кто-то другой, вы здесь ни при чем. Вы не смогли бы... Ах, мадам, я посажу вас на траву и молоко, и через неделю вы возьмете в руки дубину. А скручивать головы петушкам вы научитесь за два дня. Бабочка поедает траву, птица — бабочку, человек — птицу или рыбу, а земля — человека. Но это жизнь. Слава богу, она продолжается. Вы символически умываете руки. И я споласкиваю слизь после того, как снимаю с крючка форель. Размахиваюсь... Отойдите, мадам!

Вадим ловит в тонких перчатках и тщательно вытирает руки тряпкой, чтобы в ранку случайно не попала инфекция — леска режет пальцы до крови... Вадим вытащил крупного черно-лилового самца. Он тащил его молча, быстро, тихо. Выволок, оглушил, спрятал в тень

под камень, сделал точный заброс и сказал: «Зверэ!» Там, на другом конце лески, упруго ходила рыба. И мой друг тащил громадную форель. Он не удержал катушку, от рывка форели она бешено завертелась в обратную сторону и до крови ободрала ему пальцы. Леска лопнула... Форель ушла с блесной.

— Жалко,— сказал Вадим.

— Жалко форели,— сказал мой друг.

Вот теперь жалко. От блесны она не освободится. Даже норки ее не съедят, здесь их нет. Мой друг высосал и сплюнул кровь, даже пальцы не забинтовал. Ничего с ним здесь не случится. Он ведь и в Азии как дома. Все чаще его тянет на Восток. Голос крови, что ли?.. После больших праздников, после официальных банкетов, где сияют хрусталь и серебро, выпавшись, он обязательно утром поползет на базар, куда-нибудь в затрапезную хинкальную, где можно поесть руками из засаленной тарелки и выпить из скользкого захватанного стаканчика. Любит живую грязь, блаженствует в пестрой толкотне где-нибудь в углу, на ящике или возле окна, в которое ветер заносит запахи сваленных в кучу гниющих овощей. А вечером он опять выбритый, собранный, в самом добротном фирменном костюме, в льняной хрустящей рубашке и широком шелковом галстуке. Невысокий, плотный, слегка кривоногий, сутулый и в самом деле похожий на вепря—в бровях дикие волосы,—вот он стоит надежно на скрипучей гальке и терпеливо распутывает леску. Он выносливее меня, терпеливее, расчетливее, сдержаннее. Он научился держать во рту кипяток, расставаться с иллюзиями юности, молча покусывать губы. Он страстный и скрытный, я всегда из вагона, из машины, из кинозала выскакиваю первым, он выходит последним, а в глазах: «Я свое возьму, мое от меня не уйдет...» Я больше его зарабатываю, но всегда у него занимаю. А меня все чаще зовет Север. Там я опять молод, тело крепнет от холода и воля

тверда. Даже язва на Севере меня почти не беспокоит. С детства люблю ровную прохладу, грустную лозу, запах реки, холодные валуны в тенистых дубравах. Вадим, наверное, и на юге и на севере — как дома. Он универсал.

Мой друг замер, подавшись к воде... Блесна вылетела из пасти форели и загремела о камни. Форель обрызгала лицо моего друга и ушла возле самого берега.

— Эх!

Вадим крикнул:

— Ты счастлив?

— Что?

— Ты доволен, что приехал сюда?

— Не слышу.

— Вы не жалеете, что приехали со мной?

— Нет!

Я обшарил биноклем склоны и дорогу к озеру. Ни Садрака, ни Андроника. Пусто. Вадим словно услышал меня:

— Они что-то задумали...

Я навел бинокль на Вадима. Он снял тонкие перчатки, помыл руки, вынул коробочку с но-шпой¹, проглотил таблетку. Намочил платок, выжал, вложил в белую шапочку. Прополоскал рот. Снял рубаху, ополоснул грудь, спину. Встревожился и долго рассматривал на животе красное пятнышко. Улыбнулся — наверное, вспомнил, что в это место упирается ручка спиннинга.

Я перевел бинокль на моего друга. Вывалив язык, он блаженно расслабился и слепо смотрел на солнце. Сел. Подтянул к себе ногой куртку. Лег на нее. Несколько минут лежал неподвижно, только плотный живот равномерно подымался и опускался. Форель звонко шлепнула хвостом по воде — мой друг сел, на коленях под-

¹ Но - ш п а — венгерское лекарство.

полз к озеру, окунул лицо в воду, потрянул головой, поднялся, сделал заброс. Кончик удилица замельтешил в воздухе.

— Есть, сидит!

Смотреть, как другие ловят рыбу,— пытка... Наконец мой друг сменил меня. Дрожащими пальцами отрегулировал бинокль.

— Это не повторится...

— Знаю.

Вадим ушел к скалам. Я достал свою хрустальную подвеску. Размахнулся, моя «праща» сработала — блесна тукнула воду метрах в семидесяти от берега. Медленно подматываю леску, вот-вот ударит форель и оживет мертвый фибerglassовый хлыст, натянется, заноеет силоновая жила, спружинит сталь тройника. И возникнет живая связь между двумя яростными стихиями.

В чем же тайна охоты? Почему она заманивает людей на край земли, в горы, в трясины, черт знает куда? Почему она, как звезда путеводная, помогает не замечать неудобства, холод, однообразную еду? Прозрачная силоновая жила. Ловким забросом ты выхлестнул ее через гладкие кольца, и на том конце, в тревожной глубине что-то ожило, напряглось, забушевало. Живая связь с уходящим миром, так и не понятым нами до конца. Может, в этом тайна? А может, самозабвенная радость — есть еще жизнь в этой воде?! А может, эхо прошлого, извечная борьба, инстинкт самосохранения, звенящий клич: «Не расслабляйся! Побеждай! Двигайся! Неси эстафету жизни!»

Садрак и Андроник сидели в нашей палатке. Когда мы подошли, Садрак выстрелил из пистолета и продырявил палатку. Андроник выскочил и схватил мешок с рыбой. Вадим оттолкнул его. Андроник навел на Вадима ружье. Мой друг навел ружье на Андроника...

Вдруг мы все одновременно поняли, что у кого-нибудь нервы могут не выдержать. Опустили стволы. Андроник залаял, хрипло, как лиса:

— Все забираю, больше ловить не дам.

— Ты не можешь ловить сеткой, мы тебе мешаем, поэтому ты бесишься,— спокойно сказал Вадим.

— А ты видел?

— Ты продаешь рыбу. Ты не сторож, ты вор.

— Докажи. У меня нет рыбы, а у тебя рыба. Ты — вор.

— Я ловлю спиннингом, это спортивная снасть. У меня есть лицензия.

— А почему ты при мне целый час ловишь одну, а потом у тебя десять?

Вадим бессильно улыбался. Он уже почувствовал, что рыба уплывает. Они заберут ее и продадут. Мы ишачим на двух этих бывших уголовников. Нашли себе работу! Мой друг покусывал губы и что-то жестоко обдумывал.

— Садрак! Вы ловите сетью, мы — спиннингами. Друг другу не мешаем.

— Нет. У тебя фотоаппарат...

— А у тебя «ТТ». Кстати, а разрешение на оружие у тебя есть? Делим рыбу!

— Почему?

— Разрешение на оружие... Где оно, покажи?

— А у него есть?

— Есть. Но если бы и не было? Он может выбросить, ему не жалко. А тебе жалко. И Андроник подтвердит, что у тебя есть оружие.

— Делим! — сказал Садрак.

— Нет,— сказал Андроник.

Садрак нехорошо посмотрел на Андроника.

— Делим!

Старый лис улыбнулся.

Мы честно — ха-ха! — поделили рыбу, и они уехали.

— Как ты их! Зверэ! Надо пожрать,— сказал Вадим.

Я пошел вверх по склону за мясом, под ногами закрипел снег. Странно, только что шел по траве, по цветам и вдруг — фиолетовый снег, озноб. Запах... Половина бараньей туши торчит из снега — воняет. Снег подтаял. Надо было закопать глубже.

Кончиками волос почувствовал опасность. Оглянулся. Чуть выше, за камнем, стоял медведь. Черный, с белой грудью, ростом с меня. Я спокойно повернулся и медленно пошел к палатке.

— Там медведь...

Вадим схватил ружье, щелкнул предохранителем.

— Не надо...

— Я только пугану...

Стальному эху некуда было деться, и оно долго билось о дребезжащие пластинки скал. Я сел на камень и закурил. Я и в самом деле не испугался, видно, он телепатировал мне свое миролюбие, а я ему свое. Только сейчас я вспомнил, что все время молча сигнализировал ему: «Не бойся, я тебя не трону, и ты меня не тронешь...»

Видно, все-таки есть какая-то связь, что-то есть... Во всяком случае, я не почувствовал угрозы с его стороны, все произошло, как во сне. Вадим зло потрошил форель. Молчал. Упустили медведя.

Шкура у форелей крепкая. Ножи притупились и скользили по чешуе. Я до кости поранил руку, повязка соскочила, кровь форели и моя смешалась, соль жгла рану, саднели мелкие порезы, сверху палило солнце, говорить не было сил... Сердце стучало. Соль разъедала раны, мы рычали, скрипели зубами. Раздражение нарастало. Любое слово могло вызвать ссору.

На гребне появился всадник. Он пригнал трех коней, стреножил их и уехал. О том, что он из поселка Ахмета, мы узнали позже. Кони паслись в километре от нас. Даже горы стали не такими дикими и чужими.

Горный дубняк долго не разгорался. Облили его керосином. Из синего смрада вырвалось пламя и засверкало на солнце. Солнце жгло, и костер казался нестерпимо жарким.

— Баранина протухла, и медвежатина убежала...— Вадим отшвырнул ногой грязную кастрюлю. Она загремела на камнях.— Помой посуду.

Его рубаха намокла от пота в том месте, где солнечное сплетение. Я видел только это пятно. Но мне еще не хватало полного права на удар. Я ногой отшвырнул кастрюлю в его сторону.

— Он бы даже ничего не почувствовал,— сказал Вадим о медведе.

Солнце кололо глаза. Мы задыхались от духоты и злобы, голову напекло, жалила соль, руки зудели...

— Идите сюда, скорее! — крикнул мой друг, вылезая из палатки.

Он держал открытую коробку с вермишелью. Коробка тоненько попискивала. Заглянули, а там мышата. Мышь свила в коробке гнездо... Вот умница! Мы уже поняли, что драка все испортит... Спасла мыш! Отнесли коробку в скалы. Сварили полведра риса, вскипятили ведро чаю. Сыр в целлофане прокис, мы почувствовали это, уже доедая его. Хлеб скрипел под ножом.

Есть люди, поступки которых почти не зависят от смены погоды, от климата. Но большинство людей не подотчетно живет в соразмерности с фазами луны, сдвигами тепла и холода. Перед грозой рыба перестает клевать, она вяло стоит на дне, на холодных струях, где бьют родники.

Вадим бросает в свою кружку сахар. Девять кусков... А сахар кончается — договорились экономить. На каждого — по три куса в день. Закон джунглей! Черт с ним, делаю вид, что ничего не вижу. Впрочем, не такой уж я добрый — я люблю чай без сахара.

Вечером приехал Садрак, сидел у костра, погляды-

вал на коней. Ночью началась гроза. Горы сдвинулись и пошли на нас. Молнии жгли воздух, со склонов ползла земля, дико горело небо, глаза болели от вспышек. Мы задыхались от нехватки кислорода. В детстве однажды меня настигла в лесу буря. Она валила деревья. Лесник выскочил во двор, чтобы унести в хату котелок с картошкой, молния ударила в летнюю печку, он упал и лишился речи. Лесник на коленях вполз в хату, тряс головой и мычал... Но эта гроза еще страшнее той бури.

Небо лопнуло! От грома звенело в ушах, как будто мы сидели под огромным колоколом, а по нему били кувалдой величиной с двадцатиэтажный дом. Наша маленькая долина была перенасыщена электрическими зарядами, они с треском жгли черноту. Молнии просвечивали палатку. Горные ведьмы с воем летали над нами, ветер улюлюкал в дырявых камнях.

— А ты когда-нибудь любил женщину больше, чем себя? — спросил Вадим.

Я хотел сказать ему правду, но гроза пошла на спад, и я уже не боялся, что силы небесные ударят в меня пламенем, как в того лесника.

— Нет!.. Я всегда любил свою любовь к женщине сильнее, чем женщину.

Шум падающей воды приблизился, окружил нас, но быстро ослабел. Гроза еле дышала. И мы сошлись на том, что мужчина изменять имеет право, а женщина — нет! И вдали громыхнуло. Мы сошлись на том, что женщина не выносит серьезного одиночества. И опять громыхнуло!.. Мы сошлись на том, что женщины не понимают, насколько мы умнее и благороднее их, потому что у них просто не хватает ума понять это. «Зверэ!» — выдохнул Вадим, и молния распорола небо. Мы сошлись на том, что женщина живет только настоящим, однако мы тысячи лет обожествляем ее и ей хватает ума не разоблачать себя. Вадим был счастлив!

Мы сошлись на том, что у каждой женщины есть простой секрет.

— Например, какой?

Я еще ничего не придумал и молчал. Начал наощупь, вслепую:

— Однажды я сидел в компании — киношники, актеры... И она там была, все ее охмуряли, да, да, зверэ! Все умничали, читали стихи, играли на гитаре, боролись — кто кому руку пережмет. Все в замше, в блайдерах, в черных очках. На съемки ее приглашали. А мой друг мне шепчет: «Она тебе нравится?» — «Да». — «Пей и молчи. Молчи и поглядывай на нее изредка». Я был небритый, в каком-то зеленом свитере. Меня перед этим обокрали, все унесли. Я весь вечер сидел, пил вино и молчал. И вдруг она мою руку под столом берет. Мы встаем, и она говорит: «Мы уходим». И мы ушли. Они озверели. Потом как-то сразу увяли. Оказывается, она убеждена, что настоящий мужчина должен молчать. Кто молчит, тот думает, кто молчит, тот не хвастун, мужественный человек.

— Зверэ! Познакомь, а? Я буду молчать.

— Потерял телефон.

— А из-за тебя женщины дрались?

— В буквальном смысле?

— Да, физически... Кулаками, ногами, сумками...

— Дрались!

Я закусил губу, чтобы не расхохотаться.

— Чего ты дрожишь?

— Мне холодно.

— А вены резали?

— Резали!

— Ты не врешь?

— А тебе ведь все равно.

— Зверэ!.. Кто же они все-таки? Они любят равенство, да? И уважение. С ними надо серьезно советоваться, обсуждать всякую ерунду, вести себя солидно, по-

малкивать, это ты верно заметил. Надо шутить, делать вид, что тебе интересно, когда ей интересно. И не раскрываться. Они не понимают вечности, беспредельности, их не волнует пространство, поэтому им легко дается алгебра, химия. Почему H_2O , почему $a+b$ равно c ? Потому что H_2O , потому что равно c . Они мыслят от и до. Конкретными категориями.

— Вадим, ты много ловишь, ты устал. Ты заговариваешься.

— Дай досказать. Мы — их рабы! Мы думаем, что мы их обманываем, но уже потому, что мы пытаемся их обманывать, мы обмануты ими. У них колоссальный инстинкт самосохранения. Ты не знаешь, что с тобой случится, а они уже знают. Чувствуют шкурой, губами, пятками. И убегают. Попробуй посмотреть на себя их глазами — трезво. Не сможешь, потому что не захочешь...

В горах было тихо. Мой друг проснулся, отхлебнул черного чая, сплюнул, затряс головой.

— Перестаньте,— сказал он,— а то ударит в палатку.

— Уже прошла.

Вадим хихикнул:

— Надо рыбу проверить. А ты что думаешь о женщинах?

— Что я думаю? Я дилетант, это вы профессионалы, а точнее — ты.

— А он? — Вадим кивнул на меня.

Мой друг неопределенно хмыкнул...

— Он крупный теоретик.

— Не понимаю,— медленно сказал Вадим и, затаенно улыбаясь, попросил меня: — Расскажи о них что-нибудь хорошее.

Мы засмеялись.

Вадим надел резиновые сапоги, взял фонарик. Вернулся спокойный:

— Сегодня будет жуткий клев, вода насыщена кислородом.

— Дай пару блесен.

— Ловлю последней,— ответил Вадим.

— Все равно рыбу — поровну.

— А что ты с ней будешь делать? — спросил мой друг.

— Ну, гости, друзья...

— И дела обтяпает,— сказал мой друг.

Вадим обиделся, засопел.

— Тогда и медвежatina не помешала бы,— сказал я.

— Вас двое, я один...— ответил Вадим.

— Надо поспать.— Я вылез из мешка — холод сжал тело. После дождя на небе всегда больше звезд. Заржала лошадь, щелкнула камча, зашлепали, застучали копыта...

Утром лошадей возле озера не было. Угнали!..

Сахар и хлеб подмокли. Облили керосином ящик, согрели чай, мой друг выпотрошил несколько форелей, вывалил на раскаленную сковороду форелевые печенки, перемешал. У меня рот затек слюной. Мы хищно расхватывали ложками дымящееся варево. Глотнул чаю и обжег рот. Ждать некогда — напьюсь из озера... Стоп! Что за жалкая спешка? Я заставил себя сесть и дожидаться, пока чай остынет. Выскреб коркой сковороду, друг выхватил у меня ее из рук. Вспомнился послевоенный детдом... Мы уже шли, бежали вокруг озера.

— У нас в детдоме после ужина не давали пить.

— Почему?

— Чтобы простыни были сухими, старшая няня придумала...

— Догадливая, дрянь!..

— И я тоже рос в детдоме,— сказал Вадим.— Я был тонким и гибким, как змея.— Он похлопал себя по мускулистой груди. — Старшие прорыли под складом

щель. Я пролез... Они меня заставили. Четырнадцать пар валенок и шестнадцать мешков отрубей проезжему шоферу продали. Потом дело «открылось», они свалили на меня. Мне грозила трудколония, а я был отличником. Но я боялся их. Сказали: «Прирежем, если продашь...» Я молчал.

— Как же ты выкрутился?

— Придумал кое-что. Потом расскажу.

Я знал, что не расскажет... Взмах. Золотая траектория блесны. Удар. Рывок. Вышла наверх. Делает «свечку». Удилище скрипит. С трудом подматываю леску. Форель с открытой пастью извивается в прозрачной воде. У нее во рту горит блесна. Форель выскальзывает из рук и западает между камней. Сдвигаю широкий плоский камень — под ним настоящий погребок, просторно, холодно. Кладу рыбу, задвигаю камень, намечаю свой тайник. Меняю блесну. Размахиваюсь...

— Ты доволен, — кричит Вадим, — что приехал на это озеро?

Второй раз спрашивает.

«Ты счастлива, ты довольна?» Чей же это голос? Явственно слышу его: «Что мы тебя привезли, что мы тебе купили». На нашей лестничной площадке жила девочка, сирота. Работала в котельной. Старшая сестра и ее муж купили младшей пальтишко за тридцать пять рублей, в общем, тряпочку с медными пуговицами. В Прибалтике хорошо шьют. И весь вечер рассказывали, как купили. И все спрашивали: «Ты довольна?» Бедняжка зло поглядывала на своего жениха: вот, мол, какие они хорошие, не чета тебе. Через полгода они поженились. Старшая сестра требовала тридцать пять рублей. Муж младшей ездил со мной на реку и рассказал мне об этом.

Я вдруг представил, как взираю у младшего брата тридцатку за брюки или за туфли, и быстро отогнал это видение. Но я заставил себя думать об этом и все

подробно вообразил, все по порядку — как я ему говорю, что он мне должен тридцать, как беру деньги, целую его, шучу.

— Сука! — сказал я сам себе и обрадовался, что это не я.

Вспомнилась другая семья. Утро и воробьи. Чик-чирик, чик-чик-чик, костюмчик, мальчик, огурчик... Тоже не бедные, приезжали на своей машине. Дом заполнялся хохотом, жирными чмоками уменьшительно-ласкательными суффиксами, визгом их капризной и коварной сучки. Меня трясло, как волка от запаха псины, от беспричинного хохота, от советов «Не бери в голову», от верткого любопытства: «А что за скандальчик с Н..? Его теперь будут печатать?» — «Будут, уже напечатали». — «Не может быть!..» И сразу — разочарование в голосе, безразличие в глазах. «Мамуля, вот тебе два карлика». — «Спасибо, сколько я тебе должна?» — «Да что ты, ерунда, два сорок...» Берет у матери два рубля с мелочью. Уехали... Спрашиваю: «Как же так, они у вас два рубля с мелочью взяли. А еще говорите, что они добрые». — «Они добрые, но... хозяйственные», — отвечает мать. Нашла слово! Оправдала. Я целый год снимал у этой женщины комнату.

— Почему не ловишь?

На плечо легла тяжелая хищная рука Садрака.

Спрашиваю:

— Что у тебя в сумке?

Садрак открывает сумку — хлеб, сыр, большой кусок мяса, бутылка вина, зелень...

— Мы хотим мяса...

Заставляю себя нагло смотреть ему в глаза, забираю весь кусок, достаю бумажник, вынимаю трешку.

— Не надо.

Садрак отводит глаза. Ему стыдно за меня.

— Тогда я и вино возьму.

— Бери!..

— А сыр?
— На!
— Я заплачу.
— Тьфу!
— Ты лучше их.
— Кого?
— Ты их не знаешь.
Садрак пожимает плечами:
— Андроник гад!

Он подумал об Андронике. Садрак неподвижно сидит на камне, смотрит в одну точку. Подошли Вадим и мой друг. Первый раз говорим спокойно. Садрак искренне лукавит... Он ничего не имеет против нас. Спиннингами здесь ловить можно. Андроник это знает. Но ему выгодно это не знать. Сюда приезжают ловить спиннингами, но больше пяти никто не поймал. Не умеют... Садрак хвалит Вадима, меня, моего друга.

— Когда мы будем уезжать, спиннинги мы оставим Садраку, ладно?

— Ладно!

Мой друг сказал, что отдает ему свою куртку. Садрак назвал Андроника вонючей лисой и плюнул.

— Кто увел лошадей? — Я спросил неожиданно. — Это твоя работа...

— Нет, — быстро ответил Садрак. — Это друзья Андроника. Он вор. Лиса. Шакал. Тьфу!

Вечером мы засолили рыбу и отнесли ее в скалы. Тушки были крупными, как раз по диаметру мешка. Из нескольких форелевых голов сварили ведро ухи, она остыла и ложка стояла в ней торчком. Сварили кастрюлю риса, подогрели чай.

— Ты заметил, — сказал мой друг, — что Вадим слово «дорогой» произносит с одинаковой интонацией, на

восточный манер, даже когда обращается ко мне, к тебе? И зачем ты ему рассказываешь небылицы?

— А ты не спишь?

— Иногда сплю, иногда тихо лежу, слушаю. Он тебе не верит.

— Знаю. А слушает с радостью. Я ему высказываю его мысли. Сам он вслух никогда их не выскажет.

— А зачем?

— Трудно объяснить. Мы одноклассники, все росли на развалинах, плохо ели. Он выжил, победил, утвердился. Он все делает хорошо. Все у него есть, квартира, машина, а на морде обида. Он ведь не женщинам не верит. Он не верит людям. Чего-то ему не хватает. Может, слабости... Могучей человеческой слабости... Он хотел, чтобы его любили за силу. Его за это полюбили, а потом показали свою силу. Он ведь не шутит, когда говорит: «Нельзя им открываться, показывать слабинку. Сразу в слабое место ударят».

Глаза моего друга спрашивали: «Ну, а ты зачем хочешь быть хуже, чем ты есть?»

— Мы ведь не о женщинах говорим. Мы толкуем об одном типе. Всеядные, проворные, знают, чего хотят. Он их ненавидит, и я с ним солидарен. Только он обобщает, как тот дед, помнишь, на Карабановском озере: «Мясо вкусней, рыба тиной воняет». Он приспособился там щучек ловить, на реку не ходит, далеко. Озеро — одинокое, заросло тиной. Что ловишь, то и поймает. Мысленно мы все совершаем что-то дурное для профилактики, чтобы не совершить на самом деле. Представил что-то дурное и выдохнул радостно — это не я. Так я не сделаю. В старину это называлось изгнанием беса.

— А может, он тоже беса изгоняет? — спросил мой друг.

— Сам он бес. Ладно, черт с ним. Это жара меня добивает.

— Да, ты всегда боялся жары.

— Моя язва любит ровный холод. Поедем в июле в Карелию?

— Не смогу.

Я смотрел на своего друга и думал: «Что тебе стоит согласиться? А потом, если обстоятельства не позволят, объяснить причину?..»

Вадим подошел тихо. Спросил:

— Чай горячий?

А глаза его спрашивали: «Что вы тут обо мне говорили?»

— Соль кончается.

Вадим выкатил из-под своей раскладушки две глыбы каменной соли, изрезанной синими известковыми жилами.

— Надо перемолоть. Дорога раскисла. Из поселка не приедут.

— Перемелем.

— До обеда — вы, после обеда — я...

Он сообразил мгновенно. До обеда мы всю перемелем и еще обед приготовим, а после этой работы ловить уже не захочется. Пусть ловит... Больше я не хочу ловить. «Хватит, забава уже переходит в безумие, всякая радость здоровая любит пределы...» Буду ловить одну-две форели в день. И все.

Над нами уже сверкали звезды. Стало холодно, от резкого перепада температуры заныло сердце. Я надел свитер и шерстяные носки, выпил чаю. Озноб прошел. Я лежал в спальном мешке и смотрел в огонь. На костер можно смотреть часами, ни о чем не думая, не напрягая воображения — пламя сильнее его, оно все время меняется, завораживает, не отпускает твои глаза, и ты уже не сопротивляешься этому живому самозабвению. Сидит человек на обочине полевой дороги — ты пройдешь мимо. Стоит человек ночью на берегу реки —

ты пройдешь мимо. Но если у костра — ты подойдешь к нему. Загорается костер, и оживают законы жизни первых людей на земле. Если ты устал за день, у костра тебе кажется, что ты живешь очень давно, чуть ли не с первого дня творения. И все твои насущные заботы, все хлопоты отступают перед пламенем. И тобой овладевает нечто более высокое, чем твое точное определение окружающих событий и предметов. Привычная ориентация в пространстве не удовлетворяет тебя. И ничего в этом пламени ты вроде бы не видишь, можно, конечно, придумать всякое — лесной пожар, война, Рембо на горящих баррикадах. Но все это жалкий домысел...

— А была у тебя беззаветная любовь? Такая, чтобы дым изо рта и ничего не жалко?.. — спросил Вадим.

Мой друг демонстративно захрапел.

— Женщины — как форель, помнишь ту, которую упустил.

— Расскажи...

— Набери воды, чай вскипятим...

Вадим взял ведро и пошел к озеру. Ночью камни скользкие, ведро загремело, он выругался, видно, ударил ногу, принес воды, посмотрел мне в глаза. Я засмеялся. Он укоризненно вздохнул.

— На Речном вокзале мелькнула... Шаг — не мелкий, не семенящий, а широкий, легкий, точный. Летящий шаг! И глаза как водовороты. Втягивающие, понял?! Ветер оголил ее ногу, смуглую.

— Зверэ!

— И стало мне тревожно. И она оглянулась. Я за ней... Толпа отбросила меня, как щепку. Было воскресенье. Я — ножом в толпу! И опять она меня отбросила куда-то к ларьку. Я увидел ее на мгновение, и она так посмотрела, словно тонула. Нас завертели людские воронки... Она беспомощно улыбалась. Меня выбросило где-то возле кассы. Толпу не осилишь. Надо было что-то крикнуть. Условности, стыд... Это было лет пять на-

зад — до сих пор забыть не могу. Мелькнула, пропала... Теперь кажется, что она была мне судьбой предназначена, а я ее упустил.

Вадим расшевелил костер. Искры осыпали нас. У каждого костра свой запах, свой шум. Это был отчаянный, жадный костер...

— А если бы вы встретились? Может, она отравила бы тебе лучшие годы! Может, она довела бы тебя до неврастении. Может, она предала бы тебя, бросила больного, отсудила бы у тебя все, обобрала и ушла. А вот мелькнула — и забыть не можешь. Понимаю. Зверэ! Из детдома их брать, что ли? Ведь ни хрена не ценят. Мы — дети развалин; брюкву выдернешь, обтер об штаны, землю сплюнешь и жуешь. Теперь жить стало лучше, а люди стали хуже. Мы сравниваем то, что есть, с тем, что было, а они-то, что есть у них, с тем, что есть у подружки, у соседки. Это новое поколение?!

— Ну-ка обожди, стой, ах ты, нежный хищник, спишь под простынями? Друг, проснись, посмотри, у него простыни. Накрахмаленные! Мы как договорились? Берем самое необходимое. Мы тащили рюкзаки... — возмущался я.

— А для меня это — необходимое. — Вадим сидел на раскладушке и втирал в лицо какую-то мазь. Приторный запах мази меня раздражал.

— А но-шпу ты зачем глотаешь?

Вадим запил таблетку.

— Чтобы спазмов в желудке не было. Здесь все-таки тяжело, целый день машем спиннингами, камни ворочаем. На, выпей.

Запах мази выветрился из палатки.

— Вадим, я тебя не люблю.

— Знаю.

— Но бывает — люблю.

Мы лежали молча, и я думал о нем. Телеграмма «Светочке Голубцовой...» Забрал у моего друга кеды...

Мазь, перчатки, простыни... Зато он таскает на себе тяжелые мешки, ведет переговоры с Андроником. Он нашел это озеро. Он делает заброс на семьдесят метров! И на лошади сидит, как горец. Думаю, что и в драке он меня одолеет. Я не удержу его на дистанции, он повалит меня и добьет ногами. Где-то он прошел хорошую школу. И рыбу он солил надежно, без брака. И блесны подобрал безотказные, ловит больше нас. Он любит горы, прозрачные реки, опасные дороги, охоту. Он любит Тютчева, Блока. Но в телеграмме написал: «Светочке Голубцовой». Неужели он не чувствует, что это фальшь? Конечно же чувствует... А случись что-нибудь над пропастью или в горной реке, он не растеряется, поможет. Удержит на весу, рука у него сильная. Точно бросит веревку. Другой захочет помочь и не сможет, растеряется, струсит. А потом будет всю жизнь вспоминать и оправдываться. Сопьется, изведет сам себя... А Вадим быстро оценит обстановку, в одну секунду. Все взвесит. И если будет очень опасно, рисковать не станет. Но уже если он отступит, другому там вообще делать нечего, только себя погубит.

Холодно. Болят суставы, ноет сердце. Над головой друга белесое облачко — живет, дышит. Сердце торкается в ребра, сосуды не успевают перестраиваться. Надо вылезти из мешка, разогреть чай. Как все-таки мы зависим от природы.

Сыплется, сыплется мелкое стекло, звенит... Вадим смеется.

— Эй, что с тобой?

— Да так, детство.

— Что тебя рассмешило?

— Детская мысль. И вот сейчас... Это от холода. Если бы...— Вадим трясется от холода и смеха,— если бы на Куликовом поле появиться с двумя хорошо смазанными пулеметами. Даже с одним «максимом» можно было весь мир завоевать.

Дурацкий смех. Он уже трясет меня.

— С «максимом» нет, а вот на танке запросто.

— Идиоты, женщинам, которых вы развенчиваете, такое в голову не придет,— сказал мой друг.

— А если бы мы втроем завоевали весь мир, а? Ты бы завел гарем?

— А ты нет? — спросил я.— Почему ты о «максиме» подумал?

— Холодно. Я представил, как в старину воевали. Зимой в латах. Голова, спина, живот — все в холодном железе, бррр!

— Ерунда, они были в меховых одеждах. Доспехи тяжелые, потаскай их на себе, попробуй. Из этого железа шел пар!

— Вадим, у тебя появились опасные мысли. Ты много ловишь, устал.

— Ничего, я выдержу.

Утром Вадим ушел, а мы расстелили кусок старой, но чистой простыни, я захватил ее вместо скатерти. Мы обмыли глыбы соли в озере и раздробили их. Выковыряли ножами известку. Нашли два широких плоских камня и два маленьких, снизу плоских, а сверху неровных, чтобы рука влипала. И началось... Левой рукой подгребаешь соль на плоский камень, правой беспрерывно крутишь — правая мелет, левая подгребает... Скрежещут камни, солнце обжигает через рубаху, соляная пыль разъедает раны, забивается в рот. Глаза слезятся. Руки горят. Мой друг морщится, втягивает сквозь сжатые зубы воздух, плюется, размазывает слезы, рычит. Руки горят, пот течет по животу, раны и ссадины чешутся, зудят. Пальцы правой руки немеют. И вот я уже слаб, злобен, мрачно-циничен... «Добытчик» ловит, а мы, как рабы, крутим жернова.

— Соль некуда ссыпать, я возьму его простыню.

- Не надо, завоет.
- А ты уже воешь. Возьму.
- Не надо.
- Тоже мне, белый человек, носитель цивилизации...
- Ладно, возьми его наволочку.

Встаю, словно разрываю мышцы — ноги затекли, онемели... Жарко, а колени застыли — земля ледяная. Радостно срываю его наволочку, аж пуговицы отлетают, ловлю себя на мысли, что меня одолели дрянные чувства. Вытаскиваю ящик, складываю в угол коробки с сахаром и вермишелью, закрываю их плащом. И опять правая рука вращает камень, левая подгребает соль. Боль, зуд, пот, жара. К черту, перекур!..

Мы забинтовали друг другу пальцы, покурили. Все равно соль пробивается сквозь бинт, жжет!.. Камни скрежещут, растет горка грязноватой соли. Солнце вонзает в затылок огненные стрелы, так с вертолета бьют волков, хоть пластайся, хоть юли — не уйдешь.

— Принеси его простыню, сделаем навес.

В палатку невозможно сунуться — раскалилась, звенит. Сделали навес, тень —дохлая, белесая, но все-таки тень. Лежать на земле нельзя, заснешь — простынешь, проснешься калекой. Холодильник и пекло одновременно. Работаем молча, уже пол-ящика соли... Друг достал фотоаппарат, снимает. Снимки будут хорошие, я не обращаю на него внимания. Душно... Горят руки. Обмываем в озере новые куски, измельчаем осколки и крупные кристаллы, отгребаем помол. На солнце наползла чернильная туча, снега вокруг стали фиолетовыми. Некогда любоваться! Быстро вытаскиваем из палатки раскладушки. Эти минуты нам нужны для отдыха. Лежим, курим. Для полного блаженства надо промыть ссадины. Быстро бегу по острым камням к озеру и ударяю ногу. Споласкиваю ссадины, освежаю лицо, рот, ковыляю к раскладушке, опять соскальзываю с камня и ударяю лодыжку. Полного блаженства не

бывает! Лежим, курим... Когда-нибудь время своими жерновами размолотит, перетрет эти горы. Что здесь будет через миллионы лет? Может, и земли уже не будет...

Лопнуло небо, реактивный самолет прошел звуковой барьер. Дикая природа сделала свое дело — самолет на мгновение потряс меня... Показался чудом. Да, время строит мост к новой звезде — очень далекой, живой. Мы не совсем еще верим в это, хотя мы уже побывали в космосе.

— Вадим сегодня много поймает.

— Особенно сейчас.

— А я ловить уже не хочу.

— Надо домолоть эту глыбу, как раз будет ящик.

— Солнце появилось.

— Людей на земле все больше, а рыбы и зверя все меньше. Со временем техника будет работать на природу.

— Если природа доживет до этого дня.

— Садрак и Андроник едут к нам.

Садрак улыбается...

Достает из сумки сыр, масло, зелень.

— На...

— Это мне?

— Да!

— Почему мне?

За спиной Андроника на лошади сидит Вадим.

— Садрак полюбил тебя... И Андроник завтра привезет баранины. Андроник, ты привезешь?

— Да.

— Иди, лови,— говорит мне Андроник.

— Делай вид, что так и надо,— шепчет Вадим.

Мой друг покусывает губы.

Беру спиннинг, смотрю на Вадима.

— Бери большую сумку для рыбы.

— Бери...

Это голос Садрака. Что ему сказал Вадим? Садрак на лошади догоняет меня.

— Садись. Не бойся, конь тихий.

Садрак несет мой спиннинг, ведет коня.

— Приезжай еще,— шепчет Садрак.

— Один приезжай, будешь ловить, сколько захочешь. И медведя будем стрелять.

— Я не стреляю в зверей.

— Я буду стрелять, домой шкуру увезешь и мясо.

Что же ему сказал Вадим? Вчера при Садраке он обращался ко мне с подчеркнутым уважением, что-то поднес. И с рыбалки я шел налегке. Язва «придавила». Садрак видел, что я иду без груза, и он решил, что я пользуюсь какими-то привилегиями. И спросил у Вадима, кто я... И Вадим ему что-то сказал. Черт с ними. Делаю заброс.

— Не торопись, крути медленно,— говорит Садрак, не глядя на меня.

Я перестал крутить катушку, и мы засмеялись. Блесна зацепилась возле берега. Надежный зацеп. Садрак быстро раздевается, лезет в ледяную воду. Бугрятся черные мускулы. На ягодицах наколки: на левой — мышь, на правой — кошка. На спине прыщи, синие драконы, ножи, голые женщины. Блесна спасена. Садрак прыгает, вытряхивает воду из уха. Отхожу от Садрака метров на пятьдесят. Делаю заброс. Толчок... Взяла блесну и сразу сошла. Удар! Второй раз взяла. Еле сдвигаю ее с места. Несколько могучих рывков — громадная форель вылетает из воды и плюхается так, что, наверное, на том берегу слышно.

Я запомнил ее пятна и черную спину. И ее разинутую пасть! И ее развернутые плавники, ее могучие винты! И ее желто-мраморное брюхо! И ее перламутровые жабры. И ее прощальный рывок... Что-то обожгло ногу. Я закричал... Нога горела... Блесна, как из катапульты, вылетела из пасти, и тройник впился в правое бедро.

Я бросил спиннинг, выхватил нож, рассек кожу и, бессмысленно ругаясь, вытащил тройник. Я всегда ношу с собой йод. Это спасло меня от заражения. Якорь задел вену. Кровь шла густо. Кровь за кровь! Все правильно. Садрак хотел мне помочь. К черту! Еще внесет инфекцию. Сначала я закрыл рану, потом дал ему бинт. Он туго зажал бедро. Нога онемела. Я сел. Голова кружилась. Бинт намок кровью. Я лежал с поднятой ногой, остановил кровотечение. ...Садрак грозит озеру кулаком, ругает форель. Делаю заброс, второй, третий... Сидит! Гнет удилище, бешено мчится на меня, еле успеваю подматывать леску. Прет на меня — потеряла ориентацию, ополоумела. Ногой чувствую ее боль. Сама вылетела на берег. Но это не та, эта — обычная, средняя. Садрак оглушает ее, словно мстит за меня.

— Вот тебе!

Он, конечно, знает, что я понимаю его игру, но не смущается.

Оглядываюсь. Вокруг холодно сверкают горы, в распадах колышутся мрачные испарения. Грустно и хрипло кричат селезни, летящие над озером. Я совсем забыл о своих делах, о жизни, которую вел в Москве. Здесь мы живем одновременно в нескольких столетиях: в двадцатом — спиннинги, целлофановые мешки, газеты недельной давности; в девятнадцатом — керосиновая лампа, свечи; в восемнадцатом — изобилие рыбы, дичи. Садрак на лошади — единственная связь с миром; и даже в седьмом, в шестом — камнями размалываем соль, с трудом разводим костер, горный дубняк, твердый, как железо, не хочет гореть, а керосин кончается. И в каменном, пещерном веке — едим сырую рыбу, пляшем у огня от радости, дрожим от холода, от жары, от азарта, от невозможности поделиться этой красотой со всем миром, ну хотя бы с теми, кто поверит нам. Большие радости доводят меня до отчаяния, чем я счастливее, тем острее ощущаю непрочность своего

счастья, своей жизни и вообще всей Земли, летающей на удачном расстоянии от Солнца. Ей крупно повезло. На какие-то миллионы километров ближе, дальше — и никого и ничего бы не было...

Ночью с той стороны подул ветер и принес грозу. Мы закрыли палатку. От керогаза шел едко-синий смрад, мы очумели и ослепли. Мой друг ногой вышвырнул его из палатки. Поели всухомятку. Вадим «делал» деньги — резал бумагу и писал: «1 рубль», «3 рубля», «5 рублей», «10 рублей»... Мой друг тасовал колоду. Игра началась под грохот грома и рев воды. «Три!» — «Еще три!» — «Три и десять сверху!» — «Десять сверху и закрываю!» — «Две пары». — «Стрит». — «Стрит». — «Мой выше»... Весь банк у моего друга. «Три и двадцать сверху». — «Я пасс...» — «И я пасс...» Банк мой. «Что у тебя было?» — «Ничего». — «Зверэ». Ветер срывает полог, бумажные деньги сквозняком вытягивает из палатки в темноту. Коптилка гаснет. Закрываем палатку, подвешиваем фонарик. Вадим «делает» новые деньги.

— Билеты я вам куплю, — говорит он

Оказывается, игра идет всерьез, банк растет.

— Каре! — говорит Вадим.

Играем в долг. В палатке холодно. Уши заложило, голоса звучат, как в трюме. Холодно... Механически сбрасываю черную масть — красная теплее. Флешь-рояль! Говорю:

— Пасс.

— Тридцать сверху, — говорит Вадим.

— Что у тебя?

— Флешь-рояль.

Банк мой. Небо с треском рушится на нас. Мы задыхаемся и глохнем. Под ногами — вода. Подтекаем...

— Надо сматываться, — говорит Вадим, — начинается сезон дождей. Пойду проверю рыбу...

Он ныряет в грозу. Опьяняющий холод заполняет палатку, кружится голова, ноет сердце. Подкатывает

тошнота. Кажется, «проснулась» моя язва. По небу быстро расходятся белые трещины.

— Палатка ползет к озеру...

— Не может быть!

— Ящик развернуло, он стоял вот здесь. И посуда дребезжит. Смотри, сдвинулась.

— Вместе с землей ползем!

— И подтекаем.

— Рыба в порядке.

— Не радуйся, сель...

— Не шути.

— Мы и в самом деле ползем, смотри, ящик разворачивается.

— Подрагивает... Скорее бы утро...

— На всякий случай — двое спят, один дежурит.

Я залез в мокрый мешок, голова болит, ноги и руки дрожат. Спinoй почувствовал, как ползет моя раскладушка. Глотнул из бутылки, которую нам оставил Садрак, — обожгло. Озноб прошел. Ветер шумит ровно, безнадежно. В палатке пахнет мокрой землей. Раскачиваясь, слабо светит фонарик.

— Почему ты развелся? — шепотом спросил Вадим.

Я молча вспомнил наше северное лето.

Но это уже не для Вадима, это и в самом деле было... Мы шли на байдарках по Энго-озеру, потом по маленьким озерам добрались до светлой холодной Воньги. Одолели двадцать три порога. Вязли в болотах. Тащили лодки на себе, вслед за нами тянулись красные полосы от раздавленной клюквы. Мошка не давала дышать. Но за камнями, на ледяной стремнине, стояла семга. Под водопадами играла кумжа, и я видел ее розово-голубое брюхо. Белые ночи околдовали нас, и я слышал, как плачет воздух над остывающим озером. С Белого моря налетали ветры.

— ...Ты не спишь? — спросил Вадим.

— Нет.

— Так почему ты развелся?

Я молча вспомнил, как дожди заливали наш островок. Дожди доводили ее до отчаяния, они задержали нас. Мария боялась опоздать в Болгарию. Мы гнали, как на гребном канале. Закаты и рассветы стекали с наших весел. ...Вот и сейчас, лежим в палатке, подтекаем. Опять обступили дожди. Над спальным мешком белое облачко дыхания. Все раскисло, настало, слиплось. Звенят комары. Шумит лес. Низко летят облака. Ветер уперся в палатку, давит, студит. Говорю Марии:

— Давай споем «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг».

— Я не знаю слов...

— А что ты знаешь о «Варяге»?

— Знаю, это корабль такой.

— Что за корабль?

— Ну, на нем были герои.

— Какие герои?

— Революционно настроенные матросы.

— И дальше что?

— Их окружили враги.

— Какие враги?

— Белогвардейцы, юнкера.

— И что дальше?

— На «Варяге» подняли красный флаг. Все погибли, сражаясь. А потом песня родилась.

Лежим, молча слушаем ветер.

Маленький каменный островок в центре серого, измятого ветром озера...

— А ты читала о «Потемкине»?

— «Потемкине»? Ах, это я его с «Варягом» спутала.

— Да, это «Потемкин». А о лейтенанте Шмидте знаешь?

— Он командовал «Потемкиным», да?

— Нет, «Очаковым». Так чем же он прославился?

— Единственный лейтенант культурный, который восстал.

— В каком году?

— Кажется, в шестнадцатом?

— Немного раньше.

— Ох, извини, я все забыла. В общем, он выступал за революцию. Ну, не злись. Иди сюда, моя радость. Ты меня любишь?

Вылезаю из палатки, подсовываю бумагу под мокрые дрова, дую... Все сырое, мокрое, скользкое — не горит... Пламени не за что уцепиться. «Это я его с «Потемкиным» спутала...» «Неужели так близко от Москвы?..» «На наш век хватит...» «Не бери в голову...» «После нас хоть трава не расти...»

Колени намокли, настыли. Дую, раздуваю, не горит...

Утро было серым, тихим, затаенным... Мы разбили ящики и выплеснули на них остатки керосина. Занялось пламя, высокое, в рост человека. Обсохли, вскипятили чай. Хлеб раскис. Поели сырой рыбы, выпили чаю без сахара. Одежда, сумка, снасти — все было мокрым, холодным. Мы понуро пошли к месту ловли. Я достал из сумки последнюю блесну. Сделал заброс. Ток пробежал по леске и ударил меня в руку. Форель саблей вылетела из воды! Вдруг леска провисла. Я быстро ее подмотал и осмотрел блесну. Стальной тройник не выдержал, один крюк отломился. Я надел новый тройник, посмотрел направо — Вадим тащил форель. Лицо его было бледным, сосредоточенным. Посмотрел налево — мой друг остервенело резал ножом спутанную леску. Бросил удилище, побежал, разматывая с кассеты новую леску, споткнулся, уронил очки, поймал их на лету и обрадовался; увидел, что я смотрю на него, крикнул: «Еще не вечер!» Я сделал удачный заброс, и она сразу «села» — мягко, тяжело. Не помню, как я ее вытащил! Я в своей

жизни поймал сотни крупных язей, щук, форелей и почти всех помню — когда, в каком месте, на какой реке. Мой друг крикнул: «Вот она!» Вышло солнце, натянутая леска засветилась, форель вылетела и тяжело шлепнулась в воду, мой друг, пятась, выволок ее на берег. Вадим с разбегу далеко послал блесну... За спиной Вадима шевелился мокрый мешок с форелями. Я прошел к скалам, сделал пробный заброс. Черно-лиловая форель взяла в десяти метрах от берега. Дальние забросы делать не обязательно, главное, чтобы она не видела меня. Здесь глубоко, и окраска у них темнее. Кажется, это самцы. В глазах рябило от лиловых точек, казалось, ими забрызган воздух. Форели сильно пахли свежими огурцами. Вдруг я увидел родные обрывы Днепра, огороды, огуречные грядки, заборы, заросли крапивы... Нежность подкатила к горлу. Меня всегда волнует сырость, запах палых листьев — печальный привет тех, кого уже нет... Я потрянул головой. Видение пропало, но в горном небе возникло узкое лицо моего младшего брата. Он улыбался и морщился — слепой от солнца. В его рыжей бороде вспыхивали синие капли воды. Облако отбросило тень на его лоб. Брат был в расстегнутой белой рубашке, но я знал, что это снег на вершине горы. Я услышал плеск. Форель выскользнула из мешка и, елозя по гальке, добралась до воды. Ее голова еще была на берегу, но хвост уже развернулся... Я протянул руку. Форель почувствовала родную стихию и загребла воду хвостом. Только я ее и видел! Лицо брата улыбалось. Это он ее отпустил! Значит, так надо.

Вдруг я понял, что никогда уже сюда не приеду. Будут другие озера, реки, водопады.

Я сделал несколько прощальных забросов. Форель резко остановила блесну. Вылетела — замерла в воздухе, трепеща плавниками. Такой я ее и запомнил — вертикально висящей. С ее черной спины стекало солнце...

Потом она металась в воде, но светлый луч неумолимо тащил ее к берегу. Я осторожно прижал ее к гальке, освободил от якоря, поцеловал в прохладные губы и отпустил. Холодное сильное тело выскользнуло из рук. На душе было беспокойно. И не только у меня. Вадим попросил сигарету. Он не курит. Прикинул на глаз мой улов. У него было форелей больше, но радости в его глазах не было.

Мы посидели на холодных камнях. Подошел мой друг. Все мы заросли, обтрепались, постарели. А может, это мне показалось, потому что солнце зашло.

Чабаны гнали овец в поселок. Мы передали им записку для Ахмета, попросили, чтобы он пригнал для нас лошадей. Мы быстро пошли к палатке. Вытащили из скал рыбу. Дележ начался весело. Мы выхватывали друг у друга самых крупных форелей первого засола.

— Я имею право на большую долю,— вдруг серьезно сказал Вадим.— И чемодан у меня больше...

Мы переглянулись.

Вадим обиженно улыбался. Почувствовал, что мы расстаемся, решил взять побольше, и адье? Привезет, раздарит, сделает свои дела... Нет, это не жадность. Что-то он хочет восполнить большей долей, какую-то потерю...

Друг вылез из палатки с бутылкой вина. Он вел себя так, словно не слышал о большей доле.

— За отъезд!

Прощай, озеро в небе. Прощай, одинокое! И в самом деле одинокое; ни дорог, ни людей... Садрак и Андроник не в счет.

Друг снова наполнил стаканы, спросил у меня:

— За что выпьем?

— За женщин! Они терпеливее нас. Они даже позволяют нам лгать, когда мы хотим стать лучше. Женщина ни с того ни с сего заплачет, а через неделю приходит похоронка. Они живут в вечном страхе — за сына,

за мужа. Сынок болен; сынок в походе, а ночью дождь пошел; сынок в армии; сынок женится; сынок плохо спит...

— За женщин!

— Зверэ!

Мы выпили. Мелькнуло перед глазами: худая облезлая кошка вылезла из подвала. Я ей бросил из окна кусок колбасы. Она его проглотила. Вдруг из подвала два пушистых котенка выскочили и смотрят ей в глаза. Один мяукнул. Она отрыгнула колбасу... И ничего в этом неприятного не было. Это было прекрасно! Друг разлил остаток вина.

— За что?

— За мужчин,— сказал Вадим.— Они великие поэты и воины, ученые и пахари.

— В сорок шестом у нас в деревне бабы на себе пахали.

— Ты меня сбиваешь.

На гребне хлопнул выстрел, показались лошади.

— Некогда болтать, за дело.

Мы допили вино.

— Значит, тебе большая доля?

— Да. Если бы не я...

— Хорошо, только ответь, почему Садрак воспылал ко мне любовью?

— Очень просто, дорогой, я сказал, что ты капитан милиции.

Вадим хохотнул. Он ловко выбирал оранжевых самок — они жирнее — и укладывал их в чемодан, устланный целлофаном. Мой друг стал нарочно брать лиловых форелей. Он отходил к палатке, закуривал, неторопливо укладывал рыбу. Над нами висела туча. Мы молча обвязали чемоданы ремнями, молча собрали рюкзаки, повалили палатку. И наш «монолит» рухнул!.. И кеды мои развалились. За неделю я разбил их об эти камни... Не помню, как я прошел тридцать кило-

метров до поселка. На перевале лошади спотыкались, их ноги скользили, камни вылезали из своих мокрых гнезд, земля расползалась, ветер стрелял моей курткой. Гудела голова, высох рот, ныли зубы, лицо горело. На склонах трава была скользкой от изморози. Я падал, но боли не чувствовал. Хотелось пить. На лысинах камней синели блюдца снеговой воды. Я жадно пил. Равнодушно шел дальше. Подошвы цеплялись за камни, я их оторвал, не снимая кеды. Земля была холодной, острой, твердой. Я до крови сбил ноги, но холод каждую секунду приглушал боль. Ахмет ждал нас. Помню, я сидел на стуле и держал ноги в тазу, полном красной воды. Вадим поднял стакан с вином.

— Дорогой Ахмет...

Газик петлял в горах. Мы часто останавливались, везде нас встречали друзья Вадима. Везде у него были друзья! Я механически улыбался, пожимал руки, пил вино, ел баранину и рубленое мясо, завернутое в виноградные листья, хлебал кислое молоко. И снова — петли над пропастью. Нас несло вниз, шофер разворачивал газик, а я мысленно скользил дальше... Хоть бы столбики поставили. Где-то мы выходили из машины. Ели, пили, смеялись, обнимались, целовались, прощались. Смотрели, как круглые камушки выскальзывают из-под колес и летят в пропасть. Появился Эмманет. Он сменил шофера, имя которого я забыл. Мы опаздывали к поезду. Вадим сказал:

— Эмманет, надо его догнать! Едем на следующую станцию.

— Ладно, у меня детей нет, у вас дети...

В кабине стало холодно. Эмманет увеличил скорость. Вспыхнули фары. Свет вспугивал птиц, упирался в скалы, золотыми мостами повисал над крутизной. Большая птица попала в прожектор, свет так преобра-

зил ее, что я до сих пор не знаю, что это была за птица.

На поворотах мы падали друг на друга. Эмманет скрипел зубами. Взвизгивали тормоза. Вадим звонко щелкал пальцами, обнимал меня и моего друга, пел военные песни. Эмманет обиженно молчал. Вдруг Вадим запел родную песню Эмманета — однообразную и резкую. Эмманет перестал скрипеть зубами, его голова закачалась в такт песне, губы улыбнулись, зашевелились. Все громче он стал подпевать Вадиму. Оборотены!..

— Жми, Эмманет! — кричал Вадим.

Нам везло только потому, что свернули на новую дорогу. Она была шире и укатанней. Вадим поглядывал на часы.

— Опаздываем.

Эмманет увеличил скорость. Мы неслись в кромешной тьме. Догнать поезд, догнать!.. Как будто это дело жизни. Вдруг я опомнился: куда я тороплюсь? Кто меня ждет? К своим старикам, к брату я могу приехать и на день позже. Встречная машина вылетела из-за поворота, ослепила нас. Эмманет выругался. Пронесло...

— Жми, Эмманет!

— Эмманет, не слушай его.

— Уже приехали...

— Быстрее, быстрее! — кричал Вадим, словно одежда его горела, словно он хотел сбить с себя невидимое пламя.

Внизу возникло зарево станции. В движущийся поезд мы впихнули чемоданы, рюкзаки, снасти... Повисли на подножках. С Эмманетом попрощаться мы не успели. Мой друг махал ему рукой и кричал: «Эмманет, Эмманет...» Но поезд уже гудел, свистел, лязгал, мчался. Мы ворвались в свое купе, как сумасшедшие. Что-то мучало каждого из нас. Гонка продолжалась...

В купе сидел смуглый мужчина в сером костюме. Короткая стрижка. Серебристые жесткие волосы. Светлые глаза. Смуглые спокойные руки. Дорогие запонки. Сидит, улыбается... сильный, выбритый, приветливый.

Вадим поднял свой чемодан и покачнулся... Наш сосед подхватил чемодан, легко удержал его, поставил. И мой поставил... Втянул воздух.

— Рыба?

Читатель, я ничего не придумал. И надо же такому случиться — он попал в наш поезд, в наш вагон, в наше купе! Это все равно, что выстрелить ночью в небо и попасть в птицу. Он достал красную книжечку. В удостоверении было написано, что он — начальник инспекции по охране природы того района, в котором мы ловили форель...

Вадим напрягся.

— Это невероятно,— закричал мой друг и еще раз глянул на удостоверение.— Невероятно! — радостно повторил он.

Страх в его голосе не было. Я не ошибся — была радость. Есть бог! И мой друг отвечал за себя. Он был спокоен. Нет, не потому, что он поймал примерно столько, сколько разрешается. Пусть даже больше. Природа, женщины... Кто их поймет? Женщина говорит: нельзя, а сама хочет, чтобы ты поцеловал ее. И чем больше, тем лучше, слаще. Лишних десять форелей... Не в этом дело. За такие грехи в ад не попадают. Если бы ад был на самом деле, может, в реку моего детства не текли бы отходы крахмального заводика, это уже насилие. Вот в чем дело. «После нас хоть трава не расти, на наш век хватит...» Браконьерство — тонкая философия. Отравили речку... Так уж лучше я сеткой. А там и толом! Уж лучше так — для себя, для людей. А то ведь ни для кого... К черту спиннинг! Некогда баловаться. Толом! А спиннинг — шпага, донкихотство. И стоишь ты с ней перед крахмальным заводиком, как

Дон Кихот перед мельницей. И Вадим — не браконьер. Нет, нет, нет... Колеса стучат в голове. Я устал. Может Вадим, которого я не люблю, отравить реку? Нет. Будь он директором, не отравит. Он тип, но не тот. Вадим что-нибудь придумает, как тогда, в детдоме...

Мой друг протянул инспектору руку.

— Рамиз,— сказал инспектор.

Мы познакомились.

— Крепкая у тебя рука, Рамиз.

Мой друг поставил локтем на стол руку, приглашая Рамиза на борьбу. Рамиз снял пиджак. Две крепких смуглых лапы переплели пальцы, напряглись. Лица побагровели. Мой друг, жестко улыбаясь, прижал руку Рамиза к столу.

— Еще раз!

— Давай!

Мой друг нарочно дал придавить свою руку, а потом неумолимая сила потянула руку Рамиза в обратную сторону и припечатала к столу.

— Зверэ!

— Молодец! — сказал Рамиз.— Долго были на озере?

— Неделю.

— Руки у вас сильные, поэтому вы не почувствовали, что везете больше, чем полагается по норме.

— Увлёклись,— сказал мой друг.

— Понимаю, сам рыбак. Вы не браконьеры, это я вижу.

— Пойдем покурим,— сказал нам Вадим.

Мы вышли в коридор.

— Стойте здесь.

Я увидел наши отражения в окне вагона — сквозь меня, Вадима, моего друга летели огни и деревья,плыли темные горы. И вдруг я равнодушно подумал о себе, словно о чужом, незнакомом человеке: люди меня обижали, и я их обижал, но перед природой моя со-

весть чиста. И Рамиз понимает: мы не браконьеры. Разве спиннингами можно извести рыбу? В речных поселках у каждого жителя была сеть, и все равно рыбы не убавлялось. Мы много поймали, но если бы мы сделали что-то плохое, внутренний голос остановил бы меня, и я остановил бы их... Нет, это не жадность... Это тоска по забытой жизни — дикая природа, тяжелый труд и, как награда, — добыча. А рыбу мы раздарим. Она попадет к хорошим людям — к больным, старым, измученным весной, работой, бессонницами. Даже если Вадим раздарит ее, чтобы быстрее сделать свои дела, все равно знаменитые форели попадут к хорошим людям. Может, добро не всегда растет из добра? Может, оно растет из корысти, из гордыни, из тщеславия, из ревности. Но люди, которых обрадует Вадим, будут искренне ему благодарны. А когда человеку делаешь добро (и самый мудрый человек — наивен!), он тотчас — есть такой закон — тоже делает кому-то добро. И уже не из корысти. Сколько мне дарили зажигалок, ножей, а где они? Я их передаривал. У добра — цепная реакция. А люди — фильтры. Кочуя от одного к другому, добро фильтруется, очищается...

Вадим вернулся в купе, через несколько минут позвал нас.

Рамиз с любопытством смотрел на моего друга, на меня.

Другу:

— Дорогим гостем будешь.

Мне:

— Дорогим гостем будешь.

Вадим спокойно улыбался. Что-то сказал Рамизу. Для Садрака я был капитаном. А для Рамиза?

Утром на вокзале Рамиз уговаривал нас заехать к нему домой позавтракать. Мы сказали, что торопимся.

— Обождите десять минут.

Рамиз пропал и вскоре вернулся с огромной корзиной, полной желтых черешен. Нас ждали друзья Вадима, мы сели в машину. Рамиз махал нам рукой. Уже в аэропорту мой друг спросил у Вадима:

— Что ты сказал Рамизу?

— Я сказал правду.

— А точнее...

— Я сказал, что вы крылатые люди, работаете с перегрузками. А он, кажется, неправильно меня понял. Он решил, что вы — космонавты.

— А ты, значит, при нас?

— Вот именно. Как я его, а? Зверэ!

— Вадим!

— Да.

— Это тебе!

Вадим упал. Тут же поднялся и резко, без подготовки ударил моего друга, и мой друг упал. Я бросился между ними — на нас уже смотрели.

— Бессмысленно, — сказал мой друг и расслабился.

И Вадим обмяк. У него в этом городе были дела, он уехал. Мы искренне попрощались, понимая, что каждый останется самим собой.

«Что у меня, детство было счастливым, что ли?» — вспомнил я слова Вадима.

И еще он что-то очень важное мне сказал... На втором курсе института он купил шляпу. Из общежития он выносил ее под пальто, отходил метров на сто и надевал... Вдруг мне захотелось обнять Вадима, перед этим он не устоит...

— А ведь он полюбил нас, — сказал мой друг.

— По-своему.

Я обнял друга.

Ревели турбины. По бетону гуляли горячие сквозняки. Время обдавало нас своим дыханием. Взлетали, садились самолеты, трава стлалась и бежала вдоль

полосы. Друг мой! Разве были мы там, где в ледяной воде взрываются радужные форели и воздух забрызган их лиловыми пятнами? Разве мы там были? Были Пушкин, Лермонтов. Кто есть, тот был, а кого нет, того не было! Однажды в детстве я увидел на песке мгновенно-неподвижную тень цапли и быстро обрисовал ее! Птица улетела, а я сидел на остывшем песке и сторожил украденное у безвозвратности мгновение. Моя обрисованная птица чем-то волновала меня. Над водой уже летел туман. Заквакали лягушки. В развалинах погасло солнце. В парке на городском валу заиграла грустная музыка. Стало холодно и темно. Захотелось есть, я замерз и побежал домой. Я решил подняться раньше всех и вернуться к своей птице, чтобы ее не затоптали коровы или люди, которые придут купаться. Я проснулся поздно, солнце било в глаза. Я вспомнил о своей птице, но — вот странно — без жалости. В детстве бывают мгновения, когда мы мудрее взрослых. Я понял, что дело не в этой, случайно обрисованной цапле. Осталась детская тревога за огромную зеленую птицу, на которой мы летаем в беспредельности.

ЭПИЛОГ

Через два года мой друг на своей машине один поехал на это озеро. Целую неделю он сидел за рулем, жарился в приволжских степях, буксовал в грязи, ел всухомятку. Было начало июня — москиты доводили его до безумия. Небритый, опухший, расчесанный до крови, он, наконец, уперся в перевал. Ахмет помог ему добраться до озера. Вечером мой друг сделал первый заброс. Как только блесна тюкнула воду, сердце его сладко заныло, вот-вот...

Ради этого стоит ехать пять тысяч километров, бук-

совать в грязи, глохнуть от жары. Очень хотелось взять форель с первого заброса.

«Не вышло», — подумал он и огляделся. Синие ручьи незабудок, разрезая снег, сбегают с гор прямо в озеро. Голубая холодная вода... В ней утонул его усталый взгляд, вода освежила... Запах меда и снега... Друг засмеялся — он понял, почему сейчас увидел все это словно впервые. Он компенсировал пустой заброс!.. Сделал еще несколько забросов. Вот-вот... И вдруг обрадовался — их стало меньше. Ну что ж, это даже лучше, это уже настоящая охота, придется потрудиться, поискать форель, подумать. Дыхание голубого холода придало ему силы. Его движения постепенно стали спокойными, блесна летала все дальше и дальше. Каждый такой заброс два года назад давал бы форель. Наконец-то она вскинулась, взорвалась, и он послал блесну на всплеск. Форель ударила по блесне и сошла... Сразу стало веселей. По привычке мой друг огляделся — ни души! Он пошел вдоль озера к скалам и на ходу делал забросы.

«Куда-то они отошли», — подумал он и стал пролавливать всю впадину. Возле скалистого берега его застала темнота.

Ночью он лежал у костра в меховом спальном мешке и, наверное, думал обо мне, о нашей позапрошлогодней поездке, о Вадиме. Утром он наспех поел и почти бегом, чтобы согреться, обогнул озеро. Что-то тревожило его, он оглянулся, осмотрелся. Небо ясное, грозы не будет... Садрака и Андроника нет. Вроде бы все в порядке. Он с разбегу послал блесну метров на семьдесят, сейчас форель ударит и вылетит с горящим ромбиком во рту, согнет удилище. Что-то опять насторожило моего друга. Недалеко от берега бултыхнулась форель, он послал туда блесну, почувствовал удар и могучий рывок. Форель летела по воздуху, трясла головой, разбрызгивала солнце, бушевала в глубине, уже

на берегу хвостом разбрасывала гальку. Она была огромной. За два года подросла. Мой друг с трудом прижал ее к земле и освободил блесну. Форель была холодной. И под сердцем появился какой-то беспокойный холодок, словно передавался холод от форели. Мой друг закурил.

«Как здесь тихо», — подумал он. И вдруг испугался. Где же Андроник и Садрак? Полдня мой друг хлестал воду блеснами и понял, что Садрак и Андроник уже не нужны. В отчаянии сидел он на холодном камне и бессмысленно смотрел на воду. Солнце стояло еще высоко. Зной, усталость и единственная форель в сумке оделили свое дело. Рот пересох. Мой друг нагнулся, чтобы напиться, и увидел усталое чужое лицо. Вода ненадолго освежила. Пустая вода...

Чабан вдоль озера гнал овец. Он рассказал моему другу, что Садрак и Андроник уже не работают сторожами. Промысловики всю форель выловили сетями. А потом Садрак и Андроник плавали на лодке и по всему озеру бросали заряды. Немного форелей осталось, но поймать их трудно — они напуганы и держатся на большой глубине. А мальки все погибли... Было много орлов-стервятников, потом и они улетели... Мой друг жил на озере пять дней. Он все-таки поймал несколько форелей. Ему больше и не надо было.

«Если бы я приехал и узнал, что здесь вообще запретили ловлю, я уехал бы пустым, но более счастливым», — подумал он и беспомощно улыбнулся. Вокруг холодно молчали горы.

В небе горел след реактивного самолета. Самолет, ракета, да что ракета, простая фотокамера... Там, в диких горах, даже фотокамера вновь показалась ему великим изобретением, так оно и есть, только мы привыкли... Мой друг с восхищением думал о человеке, о его могучем уме. О человеке — с восхищением, о людях — с восхищением и ужасом. Взрывчатка, дохлые

мальки, стервятники... Мой друг засунул в рюкзак ненужный фотоаппарат. Он вспомнил, как мы фотографировались во время ловли, форель брала так часто, что не нужно было цеплять на блесну усталую, уже пойманную рыбу. «Есть, сидит, снимай!» И все в натуре — удилище согнуто, форель вылетает из воды... Мы снимали друг друга, когда мололи соль и когда свалили в кучу наш первый улов. На цветную и обычную пленку. В Москве друг позвонил мне и сказал, что пленки почему-то засветились. Лучше бы мы потеряли половину улова, даже весь.

«Значит, так надо», — с каким-то несвойственным мне покорством подумал я. Было обидно. Ну, часть пленки, ну одна — обе от начала до конца. Пленки засветились, и форелей выловили. Даже те кадры, когда мы снимали друг друга по пояс в багряных маках. Было ли все это? А если даже было, разве это утешение? Есть одно утешение — будет. В озеро запустят много новых мальков, и вырастут форели. И охранять озеро будут не от спиннингистов — от браконьеров, у которых двухсотметровые сети и взрывчатка... И от всяких других браконьеров, не пахнувших рыбой. А все-таки жаль, что засветилась пленка.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Вся надежда на Леньку . 7

II

Грибная осень 53

III

Тень птицы . . 123

Шкляревский Игорь Иванович

ТЕНЬ ПТИЦЫ

М., «Советский писатель», 1976, 208 стр.
План выпуска 1976 г. № 63. Художник
В. И. Левинсон. Редактор А. А.
Гангнус. Худож. редактор В. В.
Медведев. Техн. редактор И. М.
Минская. Корректор И. Ф. Соло-
губ. Сдано в набор 28/XI 1975. Подпи-
сано к печати 18/III 1976 г. А06753. Бу-
мага 70×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 6,5. (9,1).
Уч.-изд. л. 9,3. Тираж 30 000 экз. За-
каз № 3829. Цена 32 коп. Издательство
«Советский писатель». Москва, Г-69,
ул. Воровского, 11. Тула. Тип. изд-ва
«Коммунар». ул. Ф. Энгельса, 150.

32 к.

Г